

РОМАН ГУЛЬ
Генерал БО
II
ПЕТРОПОЛИС


PETROPOLIS

РОМАН ГУЛЬ

ГЕНЕРАЛ БО

РОМАН

II

ПЕТРОПОЛИС / БЕРЛИН

Buchdruckerei Gebr. Hirschbaum, Berlin SW 68
OCR Давид Титиевский, июль 2020 г., Хайфа

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

1.

Когда Николаю II-му доложили о смерти великого князя Сергея, он вздрогнул, оттолкнув книгу, чтение которой его захватило. Перед ним стояла императрица.

— Ники, крепись, надо молиться, боже мой, бедный Сергей! Твоим ужасным народом надо править жестоко! Русским нужна жестокость и хитрость!

Царь молчал. Голубоватые глаза были полны отчаяния. Он уронил голову на руки. Императрица увидела, как сильно лысеет рыжеватая голова.

— Ники, сделай вид, что ты идешь на уступки, чтоб успокоить на время эту гадину, это общество, чтоб прекратить убийства.

Николай II поднял на нее лицо. Глаза были болезненно сломаны, выражая безразличие и усталость. Пробор был испорчен. Он поправил его, тихо произнес:

— Может быть, действительно дать рескрипт на имя Булыгина? Может быть, успокоит? — лицо императора свела нервная судорога: казалось, злоумышленники готовят безбожное убийство его, царя.

2.

В большом Фельдмаршалском зале дворца толпилась свита, смутнея шитьем мундиров камергеров, гоф-

мейстеров, камерьюнкеров, егермейстеров, свитских генералов, блеща министрами во фраках. Дышала боязнь. Шел придушенный разговор, взволнованный шепот. Словно шептались листья. Забыв о смерти Сергея, боялись доложить о разгроме армии. Даже министр двора, рыжий лис Фредерикс, единственно могший доложить царю о бегстве войск, взволнованно ходил с дворцовым комендантом генералом Гессе, не решаясь войти к императору.

Шел крупный снег. Лохматыми тучами вился с неба, туша вид на Дворцовой площади. Император стоял посреди комнаты. Бессмысленно и страшно уставясь в окно, в снег, в летящие в безветрии белые крупные лохмы.

На шум шагов император обернулся, рот его был полуоткрыт.

— Ваше величество.

Царь вздрогнул. Блестящая лысина Фредерикса с отпавшими усами чересчур низко склонилась. Царь понял, вошла новая, может быть страшная неприятность.

Стараясь пересилить себя, он сказал:

— В чем дело? С театра военных действий?

Император бледнел. Желтоватое лицо сжалось складками. Николай II топнул ногой, нетерпеливо проговорив:

— Докладывайте же, барон! Что вы стоите!

— Ваше величество, господь бог шлет вам, — министр пугался, — шлет нам, новые испытания, бои под Мукденом...

Царь сжал виски, затыкая уши. Фредерикс заметил, как дрожит мелкой, нервной дрожью император.

— Танеева... сейчас же Танеева...

Фредерикс знал, зачем нужен начальник канцелярии. Двинулся. Но император вскрикнул: — Барон!

— Я хочу опубликовать манифест о нестроении и смутах?

Фредерикс видел, как все сильней зябкой, нервной дрожью дрожит царь.

3.

Максимилиан Швейцер жил недалеко от Зимнего дворца: в отеле «Бристоль», на углу Морской и Вознесенского. В его распоряжении было достаточно динамита. И воля шести товарищей походила на динамит.

Завороженный московским успехом, торопясь, готовил казнь жуира, острослова, растратчика, красивого барина с бакенбардами, виновника расстрела рабочих 9-го января — великого князя Владимира.

Но чья-то рука мешала. Спугивалось наблюдение, боевик «Саша Белостоцкий» бежал, боевиков Маркова и Басова схватили. Но Швейцер знал, что двор в панике, что бомбы нужны, чтоб приблизить ход революции, которую ощущал Швейцер дыханьем доменной печи, где начнет плавиться Россия. И ночью в отеле «Бристоль» готовил бомбы.

Но вдруг прохожие, застигнутые на углу Морской и Вознесенского, с криком метнулись, побежав в стороны. Извозчичьи лошади подхватили. Из четырех этажей «Бристоля» летели стекла, каменья, доски. На улицу из развалившихся стен падала ломанная мебель. Кучей, по закону притяжения, вниз ухали кирпичи, смешанные с розовой пылью. Напротив, у старого Исаакия, взрывом свалило воронихинскую решетку.

Возле капитальной стены нашли тело. Мужчина лежал на спине, страшно. Голова была откинута, лицо обращено к улице. Грудная клетка разворочена, в левой половине не было ничего. Позвоночник был бел, открыт. Руки без кистей и части предплечья валялись рядом. В обломках, мусоре лежали куски мяса, мышц и сердце.

4.

На месте взрыва толклась праздная толпа. В толпу с Почтамтской вбежала бледная Нина. Труп был один. И Нина сразу узнала, что это не Савинков.

Вернувшись, у себя на Среднем, Нина была рассеянна. Взглянула на часы: — было 12. Нина поняла, что ждет детей. И когда в передней зашаркали ноги няньки, а потом раздались, близясь к комнате, смешные ударчики по коридору, Нина встала, с улыбкой осветившей выпитое лицо, подхватила Витю, покрывая поцелуями цветные щеки, не слушая, что что-то смешное рассказывает Витя о гуляньи.

5.

В купэ поезда в Женеву Савинков читал об убийстве великого князя. Англичане в „Daily Telegraph“ писали: — «Снова красная звезда тирано-убийства мрачно засияла на темном русском небе. Сергей был унесен в один момент одной из тех фатальных бомб, которые русские конспираторы умеют так хорошо готовить и так хорошо бросать. Вы не можете безнаказанно доводить народ до бешенства или отрицать за ним элементарные права свободных граждан, не вызывая тем тираноубийства. Сергей был тиран в старом смысле этого слова, каких история и трагедии рисуют в самых мрачных красках. Великое изречение блаженного Августина правдиво и поднесь: — когда справедливость отброшена в сторону, верховная власть является разбоем.»

Немцы писали без изречений, но деловито: — „Die Zeit“ писала: — «Убийство Сергея не вызвало в мире ни удивления, ни ужаса. Его предвидели, ожидали и когда оно исполнилось — произвело впечатление необходимости. Еслиб в России не было заговоров, над было бы спросить себя: — каким образом отсутствует следствие, когда налицо причина? Русское самодержавие проповедует посредством залпов незыблемость своих основ и получает в ответ динамитные бомбы. Кто играет в истории такую кровавую роль, как Сергей, всегда должен быть готов к кровавому концу. Царизм не должен удивляться, что его катастрофы не вызывают ни в ком сочувствия».

Француз Франсис Прессансе в „L'Humanité" писал: — «Следует признаться, что таинственные судьи произносят свои приговоры над тиранией без ошибок. Кто осмелился бы защищать Плеве? Кто осмелился бы горевать о судьбе Сергея? Великие князья изъяли себя от действия гуманности. Они ведут себя как хищные звери в бараньем стаде. Пресыщение привело их к удовлетворению чувственности всякой ценой. Их частная жизнь полна преступлений, кутежей. И среди всех этих преступников худшим был Сергей».

Также писали швейцарцы в „Peuple de Genève": «Невежественную, безоружную толпу, желавшую на коленях просить о своих нуждах, царь, уступая настойчивым советам своих родичей и приближенных, наградил свинцовым дождем. Этим поступком царь поставил себя вне законов. Он чудовище подобное тем, которые давали ему советы. На царские пули народ отвечает динамитом...»

Савинков выбросил газеты в окно летящего поезда. Им овладело странное, приятное ощущение: — «О смерти Сергея Романова пишет мир, а убил его он, Борис Савинков». Савинков знал, как его встретят в Женеве. Затягиваясь папиросой, улыбался речам, тостам, статьям цекистов во главе с Черновым.

6.

Виктор Михайлович узнал об убийстве из „Peuple de Genève", за утренним чаем, поедая женевские булочки. Когда увидел телеграмму, жена Анастасия Николаевна вздрогнула, ибо Виктор Михайлович, ударив кулаком по столу, закричал: — Ах! — и махнув газетой, с закренившейся шляпой на голове, выбежал из комнаты. Хохоча, пританцовывая, бежал он по рю де Каруж. Встречные с удивлением оглядывались на громадного, рыжего, смеющегося человека. Он бормотал: — «Вот те на! Не ожидал! Ухлопали!»

7.

Квартира Гоца наполнилась товарищами. В комнате трудно было говорить, кричали все. Старые, молодые, Чернов, Рутенберг, Рубанович, Ракитников, Авксентьев, Тютчев, Натансон, Брешковская, Бах, Шишко, Зильберберг. Много толпилось народу. Самым молчаливым был Азеф. Расплывшейся тушей сидел в углу, только изредка улыбался, когда окружали товарищи и жали руки. Он был главой праздника. Бабушка Брешковская, когда вошел Азеф, поклонилась ему по русски — до земли. Чернов обнимал его, целовал, захлебывался высоким тенором:

— Эх, Ваня, мир без старосты, что сноп без перевясла, так и мы без тебя! Нет уж, товарищи, — покрывал всех тенор, — не тот разговор будет у нас с социал-демократами! Не тот-с, кормильцы! Много дыму да мало пылу! А тут, как говорится, бай, бай, да и слово молви! За нами пойдут крестьяне, за нами рабочие! Горой пойдут! И власть над революцией будет наша, эсеровская власть! И Россия будет наша, эсеровская Россия! А эс-деков под хвост! Товарищи! Да здравствует БО! Да здравствует ЦК партии!

— Нет ли у вас воды? — глухим, сипящим голосом спросил Азеф жену Гоца. Азеф пил короткими, собачьими глотками. Был взволнован. Убийство Сергея было неожиданным. Азеф думал, Савинков измотавшись в наблюдении, бросит. Поэтому попросил и второй стакан. От нервности мучила жажда.

— Ты чего распился, а? — обнимал его Чернов. Все радостно смотрели на Азефа. — Не воду, дорогой, надо пить! Шампанею! Шампанеей будем тебя отпаивать! Ваня! Так-то! — сильные короткопалые руки Чернова обвили шею Азефа. Чернов сел ему на колени.

— Ладно, тяжелый, пусти, — прогнусавил Азеф, улыбаясь толстыми, вывороченными губами, столкнул

Чернова с колен. Тот хлопнул Азефа быстрым хлопком по плечу. И снова залился высокий тенор:

— Стало быть роль-то эксцитативного-то террора, товарищи...

8.

На Монбланской Набережной, у Монбланскаго моста, кафе «Националь» попрежнему круглый год сияло огнями. Ночью зеленое полугорье казалось черным бархатом. От бархата ярче горели огни в озере.

Азеф и Савинков, не торопясь, шли по мосту. Азеф держал Савинкова под руку. Савинков любил Азефа. Савинков чувствовал, с ним жизненно взяли они одну линию и понимали друг друга. Внутренно знал, что Азеф сильнее. Но этого не говорил даже себе.

По горящему залу «Националь» шел первым Савинков. Меж столиков, ни на кого не смотря, за ним шел Азеф. Савинков был щегольской, изящный. Голову нес закинув назад. Его принимали за англичанина.

— Пойдем в угол, — сказал Азеф, когда Савинков остановился у столика, у окна. Савинков пошел за Азефом. Тот, обогнув стол, грузно вдавил себя в мягкое кресло.

— Жрать хочется до чорта, — бормотал Азеф, — закусим как следует.

Согнувшись близко головами над напечатанной золотом картой, с отельным гербом, они долго выбирали.

— Ты как насчет почек в мадере?

— Ничего, давай.

— А «Барзак»?

Азеф поморщился: — Лучше рейнского. Любишь «Либфрауенмильх»?

Повернув голову в полоборота к лакею, не смотря на него, Савинков бросал заказ. Лакей с скоростью

пулемета записывал на блокнотике и, поклонившись, побежал.

— Ну теперь расскажи, — начал Азеф, — только подробно, все.

Савинков провел рукой по лицу, сверху вниз, словно умылся.

— Да что ж рассказывать, — протянул он.

Налитое лицо Азефа ласково улыбалось вывороченными, липкими губами.

— Ты уж, Боря, не ленись, — мягко прогнусавил он.

Колыхая серебряным подносом с затуманившимися, охолоделыми рюмками и почками в мадере, подбежал лакей.

— Я сам, — остановил раскладывавшего по тарелкам лакея Савинков. Лакей отбежал.

— Как «поэт» себя держал, был спокоен?

— Совершенно. Ты знаешь, — Савинков задержал графин в руке, смотря на Азефа. — Таких как «поэт» у нас нет и не было в БО, если б таких было больше, можно было б перебить в две недели весь царствующий дом.

Азеф ухмыльнулся: — Преувеличиваешь, а Егор?

— Егор тоже.

Азеф уже ел почки, часто утирая салфеткой пачкавшиеся в соусе усы.

— А Дора волновалась поди, сама хотела, а? где она?

— Сейчас в Питере. Конечно волновалась, — чуть улыбаясь, Савинков рассказал про истерику на извозчике, после убийства. Азеф захохотал. Дальние гости оглянулись. Азеф на них не смотрел.

— Женщины всегда женщины Кишка тонка, — сказал он.

Лакей подошел, забирая испачканную посуду, судки, рюмки.

Савинков рассказывал о делах. О Петербурге, о покушениях, о том, что он узнал от Швейцера, о Леонтьевой, о Барыкове, Ивановской, о боевой группе в

Москве, Азеф за едой, словно и не слушал. Задавал вопросы изредка. Нужен был эквивалент. За ужином Азеф выяснял, что отдать полиции взамен отданного партии Сергея. В математически-точном мозгу за прозрачным «Либфрауенмильх», которое пили небольшими, холодноватыми глотками, у Азефа создалась отчетливая картина, кого безопасно отдать Ратаеву. Когда все стало ясно, он развалился в кресле, приятно вытянул ноги под столом и, расправляя складки на жилете, гнусаво сказал:

— Да, брат, дела вообще в шляпе.

— Как будто бы.

— Даже не как будто бы.

Азеф переходил к другому.

— Слыхал, ты кооптирован в ЦК? — улыбался толстогубой улыбкой. — Это я настоял. Чернов был против.

— Ах, так? Рыболов был против? — ухмыльнулся Савинков, вспоминая рыжую ненавистную фигуру теоретика.

— Ерунда, — махнул Азеф. — У Виктора есть странности. Я не об этом. Ты приходи обязательно на первое заседание. Интересный вопрос. Помнишь, говорил в Петербурге, — прищурил Азеф темные маслины, отчего лицо стало лукавым, — если нам удастся кончить с Плеве, будут деньги, а если прибавить Сергея, то и вовсе.

— Ну?

— Ну вот. Поступило предложение от члена финской партии активного сопротивления Кони Циллиакуса, через него на террор хотят дать большие деньги. Я проверял: — верно, дают.

— И много?

— Хватит.

— Кто?

— Не то американцы, не то японцы, вообще недурно.

— Меж американцами и японцами есть разница.

— То-есть? — насупился Азеф.

— Японцы в данный момент бьют русский народ. Если они дают деньги, то наверное не из за симпатии к русской революции, а чтобы облегчить избиение русского народа на фронте ударами с тылу.

Азеф потемнел, оттопырив влажные губы.

— И что же? При чем тут симпатии? Нам нужны деньги? Мы берем. А кто дает, не все ли равно?

— Японцы, неудобно. Пойдет крик. Можем быть скомпрометированы, отвернется общественность.

— Общественность? — Азеф повернулся и плюнул в плевательницу, пустив длинную слюну. — Общественность? Нужны деньги, мы их возьмем. Если сделаем дело, общественность и прочая сволочь, сама побежит за нами. А если ничего не сделаем, нас затопчут. Без денег, что ты сделаешь? Ты убил бы Сергея без денег? Ведь я тебе деньги давал. Почем ты знаешь, откуда они? Да ты плечами не пожимай! — проговорил бешено Азеф, — это важный вопрос. Я настоял на твоей кооптации в ЦК. Нам надо провести, могут быть возражения. Деньги дают БО, а не ЦК, надо взять во что бы то ни стало, — рокотал Азеф, низко наклоняясь над столом. — Не понимаешь? Ведь деньги на террор, стало быть я и ты держим ЦК и всю партию в руках.

Савинков улыбнулся вывороченным губам Азефа. Не оттого, что Азеф взволнован, даже хрипит. Оттого, что действительно, с чего он вздумал разводить сахарные теории? Да не все ли равно от кого? Неужто вдруг «пожалел, видите ли» вшивых солдат, которых как баранов запарывает царь, гоняя то под японские шимозы, то на усмирение крестьянских бунтов.

Азеф понял длительную улыбку.

— Ну? — прогнусавил он. — Брать или не брать? — и, улыбаясь, распластал толстые губы.

— Брать, Иван, все брать.

Азеф смеялся.

— Эх, ваше сиятельство, людей убиваете, а все в белых перчатках хотите, верно Гоц тебя скрипкой зо-

вет. Рефлексики, вопросики, декаденщина всякая, как это говорится — «о, закрой свои бледные ноги!» — залился Азеф гнусавым дребезгом.

9.

Передав Ратаеву телеграфно о боевиках в Москве, Азеф решил петербургских пока оставить. Утром, идя к Чернову, пощупать как мыслит теоретик относительно не то американских, не то японских денег, Азеф сдал тяжеловесное заказное Ратаеву об общепартийных мелочах: —

«Наконец то я выбрался вам написать. Дело в том, что не хотелось писать, пока не нащупаешь чего-нибудь существенного. От Чернова я только что узнал, что теперь государь на очереди. Его слова, что Россия не прекратит войны до тех пор, пока жив еще один солдат и в казне имеется один рубль, сделают государя очень непопулярным в России и Европе и покушение, вероятно, будет встречено также сочувственно, как и Плеве. Письмо, мне кажется, из Бадена писано Селюк. Содержание его вами понято правильно. Что касается ряда имен, о которых мне приходилось с вами говорить, то удалось выяснить следующее: Еремей — это Ст. Ник. Слетов. Наталья — Мария Селюк, в Киеве известна под именем Наталья Игнатьевна. Веньямин живет заграницей с прошлого года пишет в «Р. Р.», изредка на рев. темы, его перу принадлежит статья в № 44 «Р. Р.» — «Без адреса» за подписью «быв. социал-демократ», постоянно, говорят, живет во Фрейбурге, без сомнения террорист, ездивший в Россию, предполагаю, по делам террора. Веньямина здесь теперь уже нет. Я его не застал. Считают его очень талантливым. Павел Иванович молодой человек, черные усы, 28 лет, недавно приехал из Питера. Видал его несколько раз. Трудно ориентироваться в его роли, но во всяком случае

шишка. С Пав. Ив. (данные вами приметы Савинкова не совсем подходят к нему — для установления пришлите карточку) я стараюсь сблизиться. Тоже с кн. Хилковым, хотя последний, обладая аристократическим воспитанием, нелегко поддается сближению. Вежлив и только. Удалось мне открыть здесь Кудрявцева. Он в Женеве живет под фамилией Мешковского. Высокого роста, бородка светлая, в очках, одет с претензиями на Чайльд-Гарольда, в плаще, с черным, широким бантом. Ева послана в Одессу для работы в типографию, неважная особа и мало опасная, нелегальная хотя. Маша — не знаю кто, только не Тумаркина, которая живет с Авксентьевым. О Леопольде ничего здесь не слышно и никто такого имени не упоминал. Деньги получаемые Минором от Гав. — это от Гавронского, который живет в Москве и женат на сестре Минора. Платит 100 рублей в месяц. Саша, — который пишет Вере Гоц, — это Саша-Ангел, транспортист. Деньги мы уславливались, что пришлете, как только получите мой адрес, который я и прислал, — другой адрес назначался для открыток. Во всяком случае деньги переводом через банк на Вольде, а чек заказным пришлите немедленно, пост рестант, так как сижу без денег. Пришлите мне расходных 500 рублей и жалованья за этот месяц 500.

Жму руку ваш *Иван.*»

10.

В террор ежедневно успехи БО слали десятки отважных членов партии, готовых умереть за революцию. Никогда не было такой занятости у Азефа и Савинкова. Весь день не расставались. Везде их видели вместе. Непосвященные удивлялись: — что общего меж высоким почти-юношей английского воспитания и тучным, черным, животногромадным уродом? Посвященные знали, что связывает Павла Ивановича

с Иваном Николаевичем. Они сливались у партии в крепкую, однорукую силу.

Но нелегко теперь войти в БО. Входящих допрашивал Савинков. Глаза монгольского разреза были не рентгенами. Савинков не умел просматривать людей. Был сух, надменно спрашивал:

— Почему хотите работать именно в БО? С решением итти в террор не рекомендую торопиться. Сюда должны итти те, кому нет психологической возможности участвовать в мирной работе. Но если настаиваете, поговорите с Иваном Николаевичем.

Азеф не подавал руки. Был скуп на слова. Еле переплевывал через вывороченные губы. Но глаза! Глаза были рентгенами. Искоса взглянув, Азеф просматривал насквозь.

— Здраасти, хотите работы? Какую же хотите? Ну, а как же вы, в нашем деле и к веревочке надо готовиться, — гнусаво рокотал Азеф, чиркая пухлой рукой по короткому горлу.

11.

Савинкову казалось, все кругом стеклянеет. Жизнь была ползущим глетчером, правимым пустотой. «Ни на чем, вот на чем я построил свое дело», — повторял Штирнера.

Перед заседанием ЦК Савинков думал о глетчере. Жизнь казалась нестрашным сном. Под черепной коробкой билось стихотворение. Ритмом вторило сердце. Это доставляло удовольствие. Но надо итти на заседание и не опаздывать, просил Азеф, вопрос американо-японских денег Циллиакуса важен. Стихотворение писалось почти без помарок. Савинков задержался.

«Он очень низко
Мне поклонился.
Я обернулся,
Увидел близко
Его седины,
Его морщины,
Беззубый рот.
Я удивился:
Ведь он убит!
В гробу дубовом
Старик суровый
Давно лежит.
Он улыбнулся,
Я побежал.
Домой вернулся
И отшатнулся,
Меня он ждал!
Опять седины,
Опять морщины,
Беззубый рот,
Опять улыбка,
Опять поклон,
Или ошибка?
Или не он?
Да это сон.
Он был так близко.
Я торопливо
Посторонился,
Весьма учтиво
Я отдал низкий
Ему поклон.
Да это сон.
Ведь жизнь есть сон,
Нестрашный сон.

Открыв окно, положив листок с стихотворением, чтоб не снесло его ветром, под пресспапье, он пошел на заседание ЦК.

12.

Заседание ЦК было бурно. Не потому, что из России шли вести о встающей революции и через сановное лицо получились данные о перепуге и растерянности правительства. Принятие денег от Кони Циллиакуса бури тоже не возбудило. Заседание стало бурным, ибо заседавшие почувствовали: — партия в руках провокатора.

Началось это так. Усталый, председательствующий Гоц, закутанный в кресле в теплый плед, торопясь от волнения, сказал:

— Товарищи, только что получены печальные сведения. В Москве 16-го марта арестованы члены БО Борис Моисеенко, Дулебов и Подвицкий. 17-го марта в Петербурге арестованы — товарищи Прасковья Се-

меновна Ивановская, Барыков, Загородный, Надеждина, Леонтьева, Барыкова, Шнееров, Новомейский, Шергов, Эфрусси и Кац. Кроме того на станции Петербургско-Варшавской железной дороги схвачен с динамитом Боришанский. Динамит также найден в Петербурге у Татьяны Леонтьевой. Товарищи: — сказал Гоц, руки его дрожали, — в несколько дней мы потеряли самых дорогих, беззаветных работников, боевая организация в России разбита! Товарищи, это ужасно, но есть вещи более ужасные, чем поражение в бою противником. Страшные факты есть, товарищи, требующие немедленного выяснения. Я не боюсь сказать и не ошибусь: — в центре нашей партии провокатор!

В комнате, заставленной стульями, прошла тишина. Чистивший нос Чернов вздрогнул. Все, ловя слова, смотрели на Гоца. Прямо против него, тучно подымаясь в стуле, сидел Азеф. Он не выразил движения на ленивом, в одну точку уставившемся лице.

— Товарищи! — дрожал мягкий голос Гоца, изобилующий интонациями, — не только провал боевой в Петербурге и Москве заставляет нас отнестись со всей внимательностью к этому вопросу. Имеются факты, неопровержимые, подтверждающие наличие крупного провокатора среди нас. Сначала скажу, присутствующий здесь, только что приехавший товарищ Николай Сергеевич Тютчев рассказывает факт, явно наводящий на грустные размышления.

Пожилой, серебряно-седоватый человек, одетый скромно, но изящно, с бородкой клином, с умным энергичным лицом, барственным обликом, проговорил с угла:

— Разрешите, Михаил Рафаилович?

— Пожалуйста, Николай Сергеевич. — Гоц печально откинулся на спинку кресла на колесиках.

— Дня за два, накануне ареста в Питере, — заговорил размеренно, спокойно Тютчев, — ко мне позвонили в редакцию «Русскаго богатства» по телефону. И

голос, мной неузнанный, сказал: — «Предупредите — все комнаты заражены».

Тишина комнаты не прерывалась. Азеф тучно повернулся в стуле. Подпершись рукой, уставился на Тютчева. Низкий лоб наморщен, брови сдвинуты. Тютчев не глядел на него. Он обводил товарищей, останавливаясь больше на взволнованном, измученном Гоце.

— Я спросил: — «нельзя ли поговорить лично?» Повидимому мой вопрос был неожиданен, с ответом произошло замедление, мне показалось даже, что как будто мой собеседник с кем то переговаривался и затем задал, как бы нерешительно, такой вопрос: — «Да ведь поздно уж, да и где?» — Я ответил — «Здесь». Ответ был такой: — «Нет, это неудобно» и трубка была повешена.

Тютчев смолк. Казалось, слышались бившиеся сердца. Тишина начала взрываться короткими разговорами.

— Тише, товарищи! — костяшками руки простучал Гоц.

— Вопрос к Николаю Сергеевичу — протянул руку Азеф.

— Пожалуйста, Иван.

Азеф тучно, неловко, всем телом повернулся к Тютчеву, потому что шея у него не поворачивалась.

— Николай Сергеевич, стало быть вы не узнали говорившего по голосу?

— Нет. Но должен сказать, этот голос, все же я где-то слышал, он мне напомнил очень характерный тембр, который я уже не слыхал лет 10.

— А простите, Николай Сергеевич, женский иль мужской был голос? — все обернулись к Чернову.

— Ну знаете, Виктор Михайлович, — разводя руками, улыбаясь, проговорил Тютчев, — это мне кажется не столь существенно. Ведь мы же не знаем, кто звонил, и вероятно не узнаем. Что же гадать на кофейной гуще? Голос был мужской.

Чернов сделал неопределенный жест.

— Товарищи, мы чересчур детализируем случай, — говорил Гоц. — Сейчас не место и не время. Да и что же, из пальца ничего не выкусишь. Голоса Николай Сергеевич не узнал. Я хотел только осведомить вас об этом факте. Но ведь в руках у нас есть и еще более веские данные, уже фактического характера.

Азеф смотрел темными, блестящими маслинами в мечущееся лицо Гоца.

Савинков толкнул Азефа, наклонившись.

— Ты веришь?

— Возможно, — бормотнул Азеф.

— Мы получили по адресу «Революционнной России» следующее письмо. Прочту его, а потом уже будем комментировать. — Повысив вибрирующий в волнении голос, Гоц зачитал: — «Уважаемые товарищи, департамент полиции имеет сведения о следующих социалистах- революционерах: — 1) Герман, имеет паспорт на имя Бориса Дмитриевича Нерадова, жил в Швейцарии, теперь в России (нелегально), переехал «вероятно» не по паспорту Нерадова, 2) Михаил Иванович Соколов, проживал в Швейцарии по паспорту германского подданного Людвига Каина, должен отправиться в Россию, 3) за Соколовым поедут в Россию: А) Гриша, именующийся Черновым, Васнецовым, Бордзенко, Б) князь Дмитрий Александрович Хилков (двумя неделями позже) и В) месяца через два бывший студент Михаил Александрович Веденяпин (выедет нелегально из Швейцарии). С товарищеским приветом...»

Азеф бормотнул набок, Савинкову:—Подписи нет.

— Подпись есть? — громко спросил Савинков.

— Есть, я не называю, — взволнованно ответил Гоц, придерживая рукой на столе четвертушку бумаги. — Товарищи! совершенно ясно, эти сведения мог дать только провокатор. Я долго думал, положение очень серьезно. Мы должны стоять на единственно-революционной точке зрения: — не должно быть забронированных имен и авторитетов. В опасности партия. Будем исходить из крайнего положения: —

допустим, что каждый из нас в подозрении. Пусть выскажутся товарищи, может быть кто-нибудь подозревает определенно кого-нибудь?

Наступила отчаянная тишина. Сидевшие рядом не смотрели друг на друга.

— Я не хочу скрыть своих подозрений, товарищи, — в тишину проговорил тихо Гоц, — может быть совершаю преступление, но пусть рассудит суд, должен сказать, у меня есть основания подозревать одного члена партии.

Наступила гробовая тишина.

— Я подозреваю... Татарова...

Тишина углубилась. Гоц понял: — подозрения разделены товарищами.

— Во первых, по моим подсчетам Татаров на свое издательство издержал за шесть недель более 5.000 рублей. Откуда у него эти деньги? Ни партийных, ни личных средств у него нет. О пожертвовании он должен был сообщить ЦК. Я спрашивал, откуда эти деньги. Он говорит, их дал известный общественный деятель Чарнолусский. Не скрою, я начинаю сомневаться в этом. Предлагаю послать кого-нибудь в Петербург узнать у Чарнолусского, давал ли он деньги и сколько. Кроме того, Татаров на днях приезжает в Женеву. Надо установить здесь наблюдение. Повторяю, если Татаров сказал правду об источнике денег и наблюдение товарищей ничего не установит, я отказываюсь от подозрений, но, товарищи, я не могу не поделиться сомнениями...

— Правильно, Миша! — крикнул Чернов.

— Это очень похоже, — пророкотал Азеф Савинкову.

— Кто возьмет, товарищи, наблюдение в Женеве за Татаровым?

— Просим Савинкова! — крикнул Азеф.

— Савинкова! — поддержали голоса.

— Надо трех.

— Сухомлин! Александр Гуревич!

— Итак, товарищи Савинков, Сухомлин и Гуревич должны взять на себя эту тяжелую, но необходимую в интересах партии обязанность. В Петербург же к Чарнолусскому предлагаю поехать товарищу Аргунову.

— Просим! Просим!

Аргунов, недавно бежавший из ссылки, встал, хотел что-то сказать. Но ясно было, не протестует. И Гоц, повышая в дыму голос, крикнул:

— Против нет? Товарища Аргунова стало быть направляем в Питер.

Повестка дня исчерпалась.

13.

Ночью, Азеф шел один по Бульвару Философов темной, согнувшейся тушей. Дымя папиросой, перебирал все, что приносила память. Он временил с петербургскими боевиками. Сомнений не было: партию предают кроме него. Скрипя подошвами по гравию, Азеф безошибочным нюхом понял: — Татаров.

Азеф не мог спать. Свернул к Английскому саду. Сев на скамью, куря, хрипло бормотал. В несущемся с Лемана, холодящем ветре он решил смерть Татарова. Но страх, что успеет донести, не уходил. Азеф слышал, как лязгали зубы. Иногда толстые губы в темноте расплывались во что-то схожее с улыбкой. Он бормотал.

Ветер становился холодней. В темноте озера возвращались увеселительные пароходы туристов. С пароходов вилась музыка, блестели огни. Азефу стало холодно. Он пошел, качаясь тяжелой тушей, по дорожке Английского сада. Вершина Мон-Блана начала розоветь. Но и в отеле, Азеф не ложился. Кроме Татарова заносился удар неизвестного. Удар надо был отвести. Азеф сел за письмо:

Сначала он привел цитированный Гоцем документ с подписью «с тов. приветом Вл. Косовский», потом посопев, стал нанизывать расплывающиеся строки:

«Этот документ может вам, Леонид Александрович, показать, насколько у вас в Д. П. все неблагополучно и насколько нужно быть осторожным, давая вам сведения. Здесь в Женеве в группе с. р. это письмо привело всех к мысли, что имеется провокатор, который очень близко стоит ко всем делам. Неужели нельзя обставить дело так, чтобы циркуляры Д. П. не попадали в руки рев. организаций? Последствием этого будет, что кн. Хилков, который пока еще в Англии в Лондоне, гостит у своей семьи, не поедет, так как ему немедленно сообщили об этом документе. Тоже будет с Веденяпиным. Право удивляюсь, что департамент не может устроить конспиративно свои дела. Деньги и письмо я не получил. Деньги вышлите немедленно. Ради бога, будьте осторожны. Один неосторожный шаг и провал мой.

Жму руку, ваш Иван.»

Над Женевским озером рассвет был полновластен. Полыхал алым огнем. Горел Монблан. По озеру уходили лодки рыбаков в далекую, ясную синеву. Азеф не видел утра. Не раздеваясь, в черном костюме, он спал на диване, стоная, скрипя зубами, выкрикивая, словно что-то хотел рассказать и не мог.

14.

На утро Савинкову сообщили, что Татаров приехал. Татаров — большого роста русак, с квадратной крепковьющейся бородой, коротковатыми ногами, темными волосами, распадающимися на обе стороны. Татаров костист, широк, шагал шумно, говорил громко, напоминая расстриженного дьякона.

Савинков знал его с детства, вместе играли в лапту и рюхи. Узнав, что в Женеве Савинков, Татаров сразу пришел к нему. Сейчас друг друга бы они не узнали. Савинков — европеец, чересчур элегантен

для революционера. Татаров хоть и любил завязать модный галстук, надеть новомоднейший костюм, но был поповен, мужиковат. Стуча сапогами, громко крича, Татаров чувствовал себя прекрасно.

— Давненько, давненько, Борис Викторович, не видались! Ну расскажите, как живем? Вы откуда сейчас? Из Москвы?

— Из Киева.

— Как из Киева? Мне сказали из Москвы?

— Может быть из Москвы.

— Ха-ха-ха! Все-то у вас тайны да тайны! Законспирировались до ушей! Чай не с провокатором говорите, с товарищем постарше вас стажем-то!

— Не виноват, начальство свирепое, Николай Юрьевич.

— Это кто-же начальство-то? Тоже поди — печать на устах моих. Главное все сам знаю. Заграницей — Мишка Гоц! В России сами своей персоной боевикам начальство! Мне очки тоже втираете, ну да ладно. — Татаров громко ходил, мял в руках широкополую светлую шляпу, какие в Европе носят художники.

Татаров был неумен и нечуток. Растабаривая, даже не глядел на Савинкова. — «Вот этого большого человека убью, за то что гадина, за то что глуп, за то что бездарно накрутил пестрый галстук, убью, как быка. Но какой громадный? Зашумит, когда упадет», — думал Савинков.

— Страшно рад вас видеть, — говорил Татаров. Тютчев здесь, с ним вместе ведь в ссылке в Сибири жили! Вообще в Женеве куда ни сунься — наши. Только Баску хотел повидать. Не знаете, где она?

— А кто эта «Баска»?

— Да Якимова!

— Ааа слышал, не знаю. А скажите, Николай Юрьевич, у вас кажется теперь издательство будет?

— Как же, как же, будет, будет, а что? Есть у вас что-нибудь для издания, вы ведь пишете, кажется?

— Есть кой-что.

— Давайте, с удовольствием, с удовольствием.

«Убью», — думал Савинков.

— Если позволите, я передам вам на днях?

— Мемуары?

— Не совсем. Почти.

— Очень интересно, очень. Вы вот что, Борис Викторович, ко мне в воскресенье товарищи на обед соберутся, а то ведь скоро дальше еду, приходите и вы, рукопись с собой захватите, ладно?

— Bon, — сказал Савинков, ударяя ладонью ладонь Татарова, пожимая крепче обыкновенного.

15.

Обед Татаров давал на 15 персон в кабинете ресторана «Англетерр». Азеф прислал извинение. За столом присутствовало 14 человек головки партии. Серебряный Тютчев сидел с Брешковской. Трепыхая рыжей шевелюрой, в новом воротничке, смешно подпиравшем толстую шею, смеялся Чернов. Был элегантный Савинков, старый Минор, Ракитников, Бах, Натансон, Авксентьев, Потапов. Только трое — Тютчев, Савинков, Чернов — знали уже, что обед дает провокатор. Стол был сервирован пестро, красиво, с серебром, цветами, винами, деликатессами. Татаров вспоминал, как 8 лет назад основал группу «Рабочее Знамя». Товарищи напомнили за обедом, как объявил он голодовку в Петропавловской крепости, проголодав 22 дня. Татаров лишь отмахнулся, проговорив:

— Что там, 22, другие больше голодали, — подняв бокал, он встал.

— Товарищи, выпьем за революцию, которая близка, поступь которой слышим! Выпьем за партию, водительницу революции, и в первую очередь за товарищей боевиков — ура!

Узкие бокалы зазвенели разным звоном, чокались, а бокалы были наполнены по разному. Чокнувшись с

Черновым, Татаров опрокинул бокал, чувствуя хмельную теплоту. Кто-то быстро поднял ответный тост, маша бокалом прокричал:

— За счастливый отъезд Николая Юрьевича! За удачу его работы в России — ура!

Бокалы поднялись. Чернов, вместе со всеми, тенором закричал ура. После обеда, когда шумели, были веселы, оживлены, Чернов подошел к Татарову, смеясь, кругя на его пиджаке большую пуговицу, сказал:

— Когда ж едете, Николай Юрьевич?

Взяв Чернова за бицепсы, покачивая его, притягивая к себе, Татаров проговорил:

— Сегодня вечером, 11.30, Виктор Михайлович.

— Невозможно.

— Почему?

— У ЦК к вам дело.

— Я должен ехать. Какое дело?

Чернов говорил, улыбаясь: — Я уполномочен ЦК просить вас остаться на день.

— Ну хорошо, — пожал плечами Татаров, — если дело, останусь. До завтра?

— До завтра.

Чернов сказал просто, задушевно.

Проходя мимо Савинкова, бросил:

— Остается. Следите.

16.

Расправляя замявшуюся ветром бороду, Татаров вошел веселый.

— Здравствуйте, — говорил свежо, полнокровно, переходя от Тютчева к Савинкову, от Савинкова к Баху. В Тютчеве показался из под бровей холодок. «Он всегда такой», — успокоился Татаров и встал рядом с Савинковым у стола. На столе в золотенькой раме была карточка полной брюнетки. Оба посмотрели на нее, хоть брюнетки не знали.

— В чем же дело?

— Да вот ждем Чернова, он председатель.

В этот момент отворилась дверь, вошел улыбающийся Виктор Михайлович.

— Совет да любовь, — проговорил он с порога, — погода-то, кормильцы, пушкинская! Прозрачность, ясность, шел по рю де Каруж — не воздух, зефир. А, Николай Юрьевич, здравствуйте, грехом думал, не дождался, поди, уехал. Ну прекрасно, прекрасно, так что же, товарищи, никак меня только и ждали? Не посетуйте, — подкатил самое удобное кресло, с большими ручками, Виктор Михайлович.

Савинков, Тютчев, Бах, Татаров садились. Рассыпал по креслу дряхлые кости Минор. Но по тому, как садились, Татаров почувствовал недоброе. «Зачем не уехал?» — думал он. Не подавая виду, проговорил поглаживая бороду:

— Какой вопрос, Виктор Михайлович? — и голосом остался вполне доволен, прозвучал без волненья.

— Одну секунду, Николай Юрьевич, — проговорил Чернов, быстро пиша кругленькими буковками — Вопрос? — откладывая перо, поднял Чернов один глаз на Татарова, а другой пустил к потолку, — видите ли, очень серьезный, то есть не так чтоб уж очень, ЦК занят ревизией партийных дел, от имени ЦК я просил вас остаться, чтоб при вашей помощи выяснить финансовую и цензурную сторону предпринятого вами издательства. Вы, конечно, поймете желание ЦК взять издательство под свое руководство?

Татаров смотрел на свою руку, на стол. Было ясно: — подозревают. «Надо, главное, держаться с абсолютным спокойствием», — сказал он внутренно, когда Чернов говорил:

— Но прежде чем перейти, Николай Юрьевич, к этому вопросу, мне бы, то есть не мне, а всей комиссии, хотелось бы выяснить детали...

Татаров силился понять: о чем? Плотно свел брови над цыганскими глазами. Расправил рукой бороду, не догадался.

— Прошу вас ответить по первому так сказать пункту, — глаза Чернова разбежались еще более, — кто дал вам деньги на издательство? Только уж, Николай Юрьевич, — задушевно сказал Чернов, — знаете народную мудрость, кто правды не скажет, тот много свяжет, режьте нам, кормилец, все правду-матку, прошу вас.

— Конечно, Виктор Михайлович, — засмеялся Татаров, — вы наверное просто не осведомлены, я говорил Гоцу: — деньги в размере 15 тысяч рублей дал Чарнолусский, а дальнейшую помощь обещали Чарнолусский и Цитрон, это одесский издатель, — добавил Татаров.

Это было только мгновение. Мутноватый глаз Чернова замер под потолком. Тряхнув рыжей шевелюрой, расправив ее, Чернов сладко протянул:

— Так, так, видите, я вот этого, например, не знал, а скажите, — вдруг кинулся он на Татарова и в голосе прозвучала резкость. — Остановились вы сейчас в Отель де Вояжер под фамилией Плевинского?

Татарову надо было расхохотаться, ударить кулаком, закричать — что за безобразие! Но Татаров увидел, глаза товарищей режут. «Провал», — пронеслось. И он услыхал, как дважды перевернулось сердце и, показалось, упало на подошву ботинка.

— Под фамилией Плевинского.

— А номер комнаты?

— Кажется 28.

Совсем близко проплыло лицо Чернова. Улыбалось, перекашивалось. Отчеканивая слога, раздались слова:

— Это неправда. Мы справлялись, ни в номере 28, ни вообще в Отель де Вояжер Плевинского нет.

Слышно было чье-то дыхание. Заскрипев, Минор переложил ногу на ногу.

— Я не помню названия. Может быть, это не отель де Вояжер. — Татаров понимал, что говорит глупо, топит себя, но уж катился к какой-то страшной пропасти. Казалось, сейчас убьют, как убивали Су-

дейкина. Савинков чертил на бумажке женский, кудрявый профиль.

— Вспомните, — сказал косой глаз Чернова. — Борис Викторович, запишите в протокол: не помнит ни названия гостиницы, ни улицы, ни номера комнаты.

О бумагу скрипело перо Савинкова.

— Мы же не дети, — проговорил Татаров, — я солгал о гостинице, потому что живу с женщиной и этим оберегаю ее.

— Ах так?

— Если хотите, я назову имя женщины.

— Нет, что вы, Николай Юрьевич, не надо, кормилец. Вы бы сразу сказали, тогда мы просто это оставим, простите, вот вы какой чудак! Извините. Перейдем к делу. Скажите, Николай Юрьевич, чем обеспечено ваше издательство в отношении цензуры?

Татаров хотел оборвать, закричать. Но понял, что не выйдет.

— Мне обещал покровительство один из людей имеющих власть — и услышал, как изменяет пересекающийся голос.

— Кто именно? — сухо бил теперь голос Чернова, как гвозди вбивал в совершенно мягкое и они уходили до шляпки

— Один князь.

— Какой князь?

— Зачем? Я сказал — князь. Этого достаточно.

— По постановлению ЦК предлагаю вам сказать фамилию.

— Хорошо, это — граф, — тихо сказал Татаров.

— Граф? — вскрикнул Чернов, привставая.

— Это же неважно, граф или князь, вообще зачем фамилия?

— Центральный комитет приказывает вам.

Татаров сморщился, проведя рукой по лбу.

— Граф Кутайсов, — тихо сказал он.

— Кутайсов?—поднялся Чернов.—Вы с ним сносились? А известно вам, что партия готовила покушение на графа Кутайсова?

Голова Татарова опустилась, руки судорожно сжимали край стола.

— Вы солгали, — услыхал он приближающийся голос Чернова, — скрывая свой адрес, солгали об источнике денег. Чарнолусский вам не давал. Мы это проверили. Цитрона вы даже не знаете, фамилию его услыхали впервые три дня тому назад от Минора. Вы подтверждаете это?

Татаров вздрогнул, поднял голову. Последние силы вспыхнули. «Уйти, бежать» — пронеслось. Он закричал:

— В чем вы меня обвиняете?! Что это значит?!

— В предательстве! — крикнул несдержавшийся Тютчев.

Родилось долгое, страшное молчание.

— Будет лучше, если сознаетесь. Вы избавите нас от труда уличать вас, — сказал Чернов.

— Дегаеву были поставлены условия. Хотите мы поставим условия вам? — проговорил Бах.

Савинков на протоколе рисовал что-то вроде ромашки.

Дверь открылась и все увидали на пороге Азефа. Он был громаден, насуплен. Кто знал, мог догадаться, Азеф в волнении.

— Простите, товарищи, я запоздал, — тихо пророкотал он.

— Мы кончаем, Иван, садись, — сказал Чернов.

Скользкий взгляд по Татарову сказал все. Азеф прошел, грузно вдавив тело в кресло, в углу комнаты.

Покачнувшимся голосом, каждое мгновение могшим перейти в рыдание, Татаров сказал:

— Вы можете меня убить. Вы можете меня заставить убить. Я этого не боюсь. Но я не виноват, честное слово революционера.

Чернов склонился к Тютчеву. Тот мотнул серебряной, коротко стриженой головой. Чернов стал писать. Потом бумажка пошла к Тютчеву, Савинкову, Баху.

Татаров смотрел на свои ботинки, ему казалось, что шнурки завязаны туго и неудобно. Чернов встал, обращаясь к Татарову прочел:

«Ввиду того, что Н. Ю. Татаров солгал товарищам по делу и о деле, ввиду того, что имел личное общение с графом Кутайсовым и не использовал его в революционных целях и даже не довел о нем до сведения ЦК партии, ввиду того, что Татаров не мог выяснить источника своих значительных средств, комиссия постановляет устранить Татарова от всех партийных учреждений и комитетов, дело же расследованием продолжать.»

Татаров не поднял головы.

— На сегодня вы свободны. Но ЦК запрещает вам выезжать из Женевы без его на то разрешения. Отъезд ваш будет рассматриваться как побег.

Не прощаясь, опустив голову, Татаров вышел. В передней почувствовал, что дрожит. На улице шел дождь. Татаров его не заметил, хотя и поднял воротник.

17.

— Да он же уличен! — кричали в комнате. — Погибли товарищи!—Убить!—Но разве на основании!? — Провокаторов убивали с меньшими основаниями!

Азеф кричал бешено: — И выпустили!? Выпустили?! Надо было давить, как гадину! — лицо исказилось злобой, какой никто не видал.

— Но пойми, не тут же на квартире Осипа Соломоновича!? — кричал Чернов.

— Мягкотелые вороны! Слюнтяи! Чистоплюйство! Тут нельзя!? А ему нас посылать на виселицу можно?! Вы знаете, он повесил товарищей? Или вам это как с гуся вода!!!??? — закричал Азеф, быстрыми шагами, ни с кем не прощаясь, вышел, хлопнув дверью.

18.

Утром в номер Татарова постучались. Татаров сидел неумытый, в рубахе, перерезанной помочами. Вошел Чернов. Не подавая руки, сел в кресло. Татаровым овладело беспокойство.

— Даже руки не подаете? — проговорил он.

— Николай Юрьевич! Мы не подадим вам руки до тех пор, пока вы не смоете с себя подозрений, — торжественно начал Чернов. — Скажите, — задушевно сказал он. — Зачем вы лгали? Зачем вся эта история с Кутайсовым? С Чарнолусским? с гостиницей? что все это значит?

Мысли Татарова бились.

— Виктор Михайлович, понимаете, что я переживаю? — голос его задрожал, это было хорошо, — мне, проведшему годы тюрьмы, ссылки, восемь лет жившему мучительной революционной работой, словно сговорясь, бросают нечеловечески-тяжелое обвинение?

Челюсть Татарова вздрагивала, он мог заплакать.

— Я не могу на суде, это слишком тяжело. Но у меня есть что сказать. Все говорят о провалах в Питере, в Москве, о провокации. Но разве я не чувствую сам, что провокация есть, — проговорил Татаров. — Я знаю, что есть. И вижу, что ошибся, не доведя до сведения товарищей, я ведь на свой риск и страх давно веду расследование, как могу, теперь мне удалось...

— Выяснить провокатора?

— Да.

— Фамилия?—взволнованно придвинулся Чернов.

— Виктор Михайлович, вы не поверите, но это факт! — ударил себя в грудь Татаров, — партию предает... Азеф...

— Что?! — вскрикнул, вскакивая с места с разведенными руками Чернов. — Вы наотмашь эдак не отмахиваетесь! Оскорблять Азефа! Я пришел за чистосердечным признанием! Осмеливаетесь чернить руководителя партии?! Ваша роль теперь ясна, потрудитесь явиться для дачи новых показаний!!

— Это правда, Виктор Михайлович, это правда! — закричал Татаров, наступая на Чернова, — я достану вам факты!

— Негодяй! — сжав кулаки, Чернов выбежал из комнаты.

Татаров торопливо укладывал чемоданы. «Смерть, да, да, да, смерть!» — метался он по запертому номеру. И когда его ждали для дачи показаний, Татаров был под Мюнхеном, по дороге в Россию.

19.

Весна шла теплая, прозрачная, голубая. В Петербурге пахло ветром с Невы. Цвели острова. По Невскому бежали говорливые люди. В притихших садах пригородов бешеным кипятком раскидалась черемуха. Ночами на улицах слышалось пенье.

Близорукий шатен в золотом пенсне, товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, Федоров в этот день не чувствовал весны. Он был мягок. Получив предписание выехать в Шлиссельбург для присутствия при казни террориста Каляева, почувствовал себя дурно.

Федоров даже не знал, как туда ехать, в Шлиссельбург? Объяснили, надо сесть в полицейский катер у Петропавловской крепости. И Федоров в катере, волнуясь, ехал пять часов. Были тихие сумерки. Нева катилась потемневшая. Над ней плыла ущербная луна. В лунном свете белосиними показались Федорову стены и башни Шлиссельбурга.

Подрагивая от холода, от нервов, в сопровождении жандармов Федоров прошел в ворота с черным двуглавым орлом и надписью «Государева». Белые дома, зеленые садики крепости показались странными. В сопровождении жандармов шел к дому коменданта. Направо в сумерках увидал белую церковь, с потемнелым крестом. Церковь стояла тихо, словно была в селе, а не в крепости.

— Я товарищ прокурора, Федоров, — проговорил Федоров, здороваясь с комендантом.

— Очень приятно, — сказал комендант, но видимо ему было скучно.

— Я хотел бы сейчас же пройти к заключенному.

— Время еще есть, — улыбнулся скучно комендант. — Впрочем ваше дело. Корнейчук! — крикнул он. — Проведи господина прокурора в манежную.

20.

Каляев, в черном обтертом сюртуке, сидел на кровати. Шея была голая, худая. В камере стоял стол, стул, кровать. Каляев казался маленьким, тщедушным. На шум двери он обернулся.

— Здравствуйте, — проговорил, входя с жандармом Федоров. — Я товарищ прокурора судебной палаты.

Федоров представлял террориста гигантом с огненными глазами. Мягкий Каляев поразил. Странными были ласковые глаза. Они не глаза террориста.

— Я знал, что вы придете. Садитесь, — проговорил Каляев.

— Простите, — сказал Федоров, голос его дрогнул. — Я, господин Каляев, не знаю, известно ли вам, что если вы подадите на высочайшее имя прошение о помиловании, то смерть будет заменена вам другим наказанием?

Странные глаза остановились на Федорове, как бы не понимая.

— Я буду просить, — улыбаясь сказал Каляев, — но не царя, а вас и то только об одном. Доведите до сведения правительства и общества, что иду на эшафот охотно и спокойно. Помилования не просил, когда уговаривала великая княгиня Елизавета. И сейчас просить не буду.

Каляев увидал: Федоров взволнован, у него вздрагивают губы.

— Я хочу говорить с вами, — сказал Каляев и уыбнулся мягко, — как бы сказать, казнь будет через несколько часов... как с последним человеком, которого вижу на земле. Только постарайтесь понять и исполните просьбу. Я не преступник и не убийца. Я воюющая сторона, сейчас слабейшая, в плену у врага, он может со мной делать, что хочет. Но душу мою, мои убеждения, идею мою он не отнимет, понимаете?

— Господин Каляев, я человек других убеждений, — проговорил Федоров.

На лицо Каляева вышла странная, насмешливая улыбка.

Федоров путался, Ему хотелось сделать что-нибудь приятное в последний раз маленькому, тщедушному человеку с тихим лицом.

— Может, вы хотите переговорить со мной наедине? Выйдите! — бросил он жандарму.

Жандарм споткнулся, зацепив шпорой о шпору, зазвенел и вышел. Но когда дверь заперлась, Каляеву показалось, что зря, что говорить не о чем. Федоров платком протирал пенсне.

— Странно, — глядя в пол, медленно произнес Каляев, — может быть, мы с вами были в одном университете?

— Я кончил в Москве, — проговорил Федоров, надевая пенсне.

— Я там начал, — сказал Каляев, но вдруг нервно вскочил и заходил по камере. — Если б вы знали, если б знали, как я волнуюсь. Поймите, я хочу, чтоб товарищи знали, что я иду на смерть совершенно спокойно и ни о каком помиловании не прошу.

Помолчав, Федоров сказал.

— Может вы хотите написать об этом? Я приглашу ротмистра, он засвидетельствует и это будет документ. Я передам его в палату.

— Но разве возможно? Да, да, пусть все знают, что умираю спокойно. Ведь это необходимо, поймите, в интересах дела. Спокойная смерть это сильный акт

революционной пропаганды. Это больше чем убийство.

Федоров думал: «боже мой, неужели у них таких много?»

Федоров встал. — Подождите, я принесу бумаги, — проговорил он, и распахнув дверь, сильно ударил приложившегося к скважине жандарма. «Что за гадость!» — бормотнул Федоров. — «Виноват, вашбродь», — проговорил жандарм, растирая ухо.

21.

Меж крепостной стеной и сараем строили виселицу. В темноте мелькали силуэты людей. Федоров отвернулся.

В доме коменданта поразили собравшиеся люди. Стояли представители сословий, три обывателя из мелких торговцев. Прислонясь задом к подоконнику, поглаживая бороду, стоял священник. Шумно обступили офицеры гарнизона генерала барона Медема, командированного присутствовать при казни Каляева министерством внутренних дел.

Перед генералом, на столе лежали ножи, молотки, ножницы.

— Прекрасные изделия делают, ваше превосходительство, не подумаешь, что способны, — говорил, показывая, комендант.

— Прелестно, — сказал генерал, держа молоток.

От блеска пуговиц, мундиров, разговоров у Федорова комком подступила тошнота. Он выбежал на крыльцо в темноту: — его вырвало. Проводя по вспотевшему от напряжения лбу, Федоров пошел к манежу.

Каляев, улыбаясь, проговорил:

— Вот, хорошо что пришли, а мне уж объявили.

Федоров прислонился к стене. Каляев писал. Но вдруг обернулся, вскочил. — «Где же шляпа? — проговорил он, — где моя шляпа? она была тут, — он

шарил по постели, — ах, вот она», — и схватив шляпу сделал шаг к Федорову.

— Я написал. Что ж мы ждем? Пойдемте, чем скорее, тем лучше. — Каляев в локте сжал руку Федорова, но смотрел мимо, на огонь лампы.

— Может быть вам что-нибудь передать?

— Передать? — сказал Каляев, как в забытьи. — Не знаю, что передать? Я никому зла не сделал, любил людей, за них умираю, что же передать? Главное не забудьте, что не унизился просьбой о помиловании. А нет, впрочем это неделикатно, лучше: — остался силен и не просил помилования, — улыбнулся блестящими глазами Каляев.

— Но у вас же есть мать? Я передам.

— Передадите? — забормотал Каляев, — сейчас. Он писал, рвал, бросал. Закрыл лицо руками, просидев несколько секунд, оторвавшись, стал снова писать:

«Дорогая незабвенная моя мать! Итак я умираю! Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к своему концу. Пусть же ваше горе, дорогие мои, все: — мать, братья, сестры потонет в лучах того сияния, которым светит торжество моего духа. Прощайте, привет всем от меня кто знал и помнит. Завещаю вам: храните в чистоте имя моего отца. Не горюйте, не плачьте. Еще раз прощайте, я всегда с вами.

Иван Каляев».

Промокнув грязной промокашкой несколько раз, Каляев передал.

— Теперь я спокоен, пойдемте, пойдемте скорее.

Дверь навстречу ему отворилась. Вошел худой ротмистр с двумя солдатами.

— Приготовьтесь, — сказал худой ротмистр.

Легко улыбаясь, Каляев смотрел на ротмистра. Потом, повернувшись сказал Федорову:

— Прощайте, спасибо.

22.

В столовой коменданта, освещенной лампами и канделябрами, шумели. За накрытым столом сидел генерал барон Медем. Возле генерала комендант по очереди хватался за бутылки. Представители сословий неуклюже ковыряли ножем рыбу.

— При семнадцатой, ваше превосходительство?

— Это вот будет семнадцатая, — поправил генечал комендант. — Присаживайтесь!

— Я при девятой,—смеялся хмелевший ротмистр.

— Молоды, доживете до моего, будете при семнадцатой.

— Да куда же вы? Закусите, прокурор? — кричал комендант. — Присаживайтесь.

В темноте двора Федоров сел на скамью под липами. Прямо, в отдалении темнела готовая виселица. Федоров смутно помнил, как из дома вышел генерал Медем, полукругом шли офицеры, священник и представители сословий. Открылись двери манежа. Под сильным конвоем с саблями наголо, в квадрате жандармов, с непокрытой головой шел маленький человек в обтрепанном сюртуке. Шея была голая.

Рассветало. Пахло липами. Федоров с трудом шел к виселице, именно потому, что слишком сильно пахло липами. Он слышал, как читали приговор. Подошел священник. Каляев отстранил крест.

— Уйдите, батюшка, счеты с жизнью кончены. Я умираю спокойно.

И тут же подошел палач Филипьев, надвинув на Каляева саван.

— Взойдите на ступеньку, — сказал хрипло Филипьев.

Из мешка чуть придушенный, но спокойный, раздался голос:

— Да как же я войду. У меня мешок на голове, я ничего не вижу.

Федоров отвернулся, закрыв лицо, сделал три шага.

Удивился, почти тут же услышав шаги. Шли генерал барон Медем, офицеры, представители сословий, священник.

От ворот Федоров обернулся. На виселице качалась, казавшаяся очень маленькой, фигурка в саване.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

1.

В мае повесили Каляева. К осени загорелась бледносиним огнем Россия, показывая градусы плавки. Пьяными, озлобленными реками текла из Сибири разбитая японцами армия. На железных дорогах войска разносили вокзалы, грабили базары. Агитаторы наполняли вагоны солдат революционной литературой. И вернувшемуся с портсмутского мира Витте тихо проговорил престарелый граф Сольский:

— Сергей Юльевич, спасите Россию от пролития крови внутри.

Уличные мальчишки хохотали над императором. Каскадные певицы в кафешантанах, задирая ноги, пели шансонетки о поражении. Студенты волновались. Профессора требовали автономии. Бастовали фабрики и заводы. Огнем восстаний крестьян горела Балтика. Командующий войсками генерал Фрезе вступил с повстанцами в бой. Взволновался Кавказ. Бессильный наместник, граф Воронцов-Дашков, телеграфно запрашивал Петербург, что предпринять в развертывающихся событиях. В юго-западном крае под давлением выступившей революции бежал с поста генерал Клейгельс. К многотысячной толпе с красными знаменами, в Москве, немощно, не зная, что делать, на переговоры вышел заместитель разорванного Сергея П. П. Дурново. В Царстве Польском восстания пара-

лизовали власть генерала Максимовича. Он скрылся в подваршавской даче. Буйствовала Сибирь мчавшимися эшелонами войск. Иркутский генерал-губернатор граф Кутайсов и омский генерал Сухотин оба оказались беспомощными, ночью и днем охраняясь усиленным конвоем. Над севшим на паровоз министром путей сообщения кн. Хилковым, желавшим воодушевить машинистов, железнодорожники рассмеялись и стащили его с паровоза. Бастовали фабрики, чиновники, магазины. Во дворцах пошли тайные заседания придворных о возведении на престол Дмитрия Павловича с регентшей вел. кн. Елизаветой Федоровной. Кадетская партия хотела видеть президентом российской республики князя Долгорукова. Черносотенцы в чайных агитировали за возведение на престол члена союза русского народа князя Щербатова. И миллионер с монгольским лицом, Савва Морозов проговорил в ресторане: — Довольно, пора все перевернуть!

2.

Окруженный треповскими молодцами, император бежал из Зимнего в Петергоф. В эти дни нравились маленькие дворцы. Император в волнении с женой поджидал Витте. Были темные, осенние, октябрьские дни. Витте мог приехать только по Неве на пароходе с верной командой.

Пароход «Император» быстро шел Невой. Нева была стальная. Волны походили на морские. Летели рваные тучи. В зале за завтраком тихо сидели, изредка стуча о тарелки вилками и ножами, — обер-гофмаршал граф Бенкендорф, граф Витте, барон Фредерикс и помощник управляющего делами комитета министров Вуич. В зеркальное, продолговатое окно виднелись летящие осенние тучи. Накрапывал мелкий дождь. Молчали. Злые тучи и острый, игольчатый дождь навевал скуку и тоску на едущих.

Менее мрачен был Витте. Старый интриган знал, зачем едет. Доедая рябчика с брусникой, обращаясь к молчавшему Фредериксу, он громко рассказывал о принце А. П. Ольденбургском.

— Александр Петрович, милейший человек, барон, но знаете не без странностей. Помню, председательствовал принц в комиссии по борьбе с чумой в киргизских степях. Приезжаю однажды к нему, а принц необычайно сумрачен. Говорим о делах, к нему все подбегает камердинер, что то докладывает. Я готов был счесть за неучтивость. Но вижу, принц действительно взволнован, и даже среди разговора вдруг вскакивает, бежит и кричит: — Пожалуйста, подождите! — Жду, выходит Александр Петрович радостный, с порога кричит: — Проснулась! Проснулась!

— Кто, говорю, изволил, ваше высочество, проснуться?

— Да, няня, говорит, у нас в доме очень старая, так вот она несколько дней тому назад заснула и не просыпается. Принимали разнообразные меры. А я, говорит, сейчас догадался, пришел и закатил ей громадный клистир! И понимаете, вскочила старушка, как встрепанная, — захохотал Витте.

Вуич задержал улыбку. Обергофмаршал граф Бенкендорф, старик с изможденно-породистым лицом, не слушал Витте, доедая котлету марешаль. Доев, туго вытер узкие, тонкие, синеватые губы и, глядя старческими глазами в окно, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Очень жаль, что у их величеств пятеро детей.

Витте обернулся к пергаментному обергофмаршалу.

— Вы хотите сказать, граф, было бы лучше, если б у их величеств вместо четырех дочерей было четыре сына? Так я осмелюсь понять?

— Нет, граф, — с иронией к еще невысохшему графскому титулу проговорил Бенкендорф. — Жаль потому, что в случае надобности быстро покинуть Пе-

тергоф, чтоб искать убежища заграницей дети будут служить препятствием. С детьми хлопотно.

— Ах, вот в каком смысле, граф, но я думаю, до этого, боже спаси, не дойдет.

— И я думаю, — перебил старый обергофмаршал, умолк, умными глазами с обмякшими красноватыми веками глядя в окно на налетающие на пароход обрывки черных, быстро несущихся туч.

3.

Император был в нетерпении. То садился, то ходил, то стоял у стола, то отходил. Император был в беспокойстве. От погоды. От того, что приезжающие будут долго, непонятно говорить.

Императора волновал дождь. У него разыгрывался ишиас. Последние вести о разростающейся забастовке, о кадетском съезде с речью Милюкова, придворные скрыли.

«Если б выглянуло солнышко, если б выглянуло солнышко», — беспрестанно повторял, не слыша голоса, Николай II-й.

В дверь вошли: императрица, Трепов и Оболенский.

— Они приехали — сказала сухо и злобно императрица. Трепов и Оболенский остановились у дверей. Подойдя вплотную к царю, обнимая и целуя его, императрица прошептала: — «Будь тверд, не давай им много». Император болезненно сморщился, отстраняя второй поцелуй.

— Скажи, чтоб вошли, — обратился он к Трепову.

Трепов зазвенел шпорами. За ним вышел Оболенский.

Императрица села у стола. Опершись головой на руки, император сидел за письменным столом, где обычно принимал доклады. На нем была полковничья стрелковая форма.

На тяжелые шаги Витте, он поднял голову. За Витте шли Бенкендорф и Фредерикс. Император встал навстречу. Улыбаясь, пожал руку Витте.

— Как я рад вас видеть в такой тяжелый момент для родины, Сергей Юльевич.

— Жизнь и знания мои в вашем распоряжении, ваше величество, — склонил голову Витте. Но это было странно, он был гораздо выше царя.

Витте поздоровался с императрицей. Матовое, мертвое лицо было маской. Она ненавидела «безносого графа». И пришла слушать его интриги против их власти.

— Садитесь, Сергей Юльевич, — император был прост, радушен, он знал, что уже сделано лицо № 2, которым очаровывает, если хочет.

— Ну как съездили? Как Рузвельт? Как Америка? Ах, да простите, чтоб не забыть, меня очень интересует, вы были в Роминтене, там этот безнравственнейший граф Эйленбург, кажется, имеет на Вилли большое влияние?

— Насколько я мог судить, ваше величество, — покорно начал Витте.

Его перебил порыв ветра и ударивший в окно косой дождь.

Императрица повернулась к окну. За ее взглядом повернулись головы придворных. В это время без стука вошел Трепов, звеня шпорами прошел и сел на диван.

Витте рассказывал о Роминтене.

4.

Только к вечеру император вызвал Витте в кабинет. Они шли — громадный Витте в расшитом мундире с ключем на заднице. И маленький желтоватый стрелок-полковник.

Когда сели, у императора болезненно сморщилось лицо, он тихо проговорил:

— Вы, конечно, знаете, что у нас происходит и понимаете, как мне все это больно, граф (он умышленно назвал его графом, подчеркивая монаршью милость). Я хочу знать сейчас ваше мнение о событиях, — запинаясь, говорил император.

— Ваше императорское величество, — торжественно начал Витте, поправляясь в кресле и вытягивая ноги, но так, чтобы этого не заметил царь. — Вы, конечно, помните мое мнение, высказанное вашему величеству перед началом нашей несчастной войны. Но тогда вашему величеству благоугодно было воспользоваться другим мнением, покойного министра внутренних дел...

Царь сморщил переносицу, холодно произнес:

— Зачем вы говорите мне неприятности?

— Простите, ваше величество, я говорил их и вашему в бозе почившему августейшему отцу, императору Александру III-му и позвольте...

В это время в дверь вошла императрица.

— Я не помешаю, Ники? — сказала она по английски.

— Нет, нет, Алис, очень хорошо.

— По моему мнению из создавшегося вследствие несчастной для нас войны тяжелого положения имеются, ваше величество, два выхода. Я буду счастлив, если какой либо из них совпадет с вашим мнением. Первый выход...

Император сдерживал нервный зевок, закрывая подбородок рукой.

...облечь соответствующее лицо полновластием и подавить с непоколебимой энергией смуту во всех ее проявлениях. Для этой задачи, полагаю, ваше величество, надо избрать человека военного, коему была бы свойственна сила и решительность в проведении суровых мер до конца.

Витте посмотрел на Николая. Его лицо не выражало ничего. Императору было скучно.

— Конечно, этот вопрос чрезвычайной важности следовало бы, по моему мнению, обсудить в совещании

с другими государственными деятелями и с лицами царской семьи, коих дело это существенно может коснуться, — говорил Витте громким, тягучим голосом.

Царь и царица смотрели на него без выражения.

— Второй путь, дабы успокоить страну, и путь, который я бы считал более целесообразным, — осторожно сказал Витте, — это путь более или менее широких реформ, ваше величество, которые бы могли вы обнародовать в виде манифеста.

— Каких реформ? — устало проговорил император, подпирая рукой щеку.

— Дарование основ некоторой гражданской свободы, ваше величество. Не останавливая предназначенных выборов в государственную думу, привлечь к участию, по мере возможности, классы населения, которые лишены избирательных прав.

— Это невосмошно, — с акцентом произнесла царица и уставилась в Витте холодом злых, ясных, немецких глаз. — Это революция сверху, Россия не есть западная страна.

Витте обернулся, отдавая ей учтивый поклон.

Император молчал, смотрел в окно. Косой дождь бил редкими полосами. Из последних туч над старым парком показывалось солнце. Император вспомнил, что дождь при солнце называется «слепой дождь».

Молчание в комнате длилось долго.

— Осмелюсь спросить, ваше величество, — прервал молчание тягучий голос министра — вашего мнения относительно изложенных мною мыслей, ваш великий пращур говорил: — промедление смерти подобно. В данный же момент страна накануне революции.

Лицо царя недовольно сморщилось. Голубоватые глаза, в длинных женских ресницах пристально, устало смотрели на министра.

— Я сердечно благодарю вас, граф, за высказанные вами ценные государственные мысли, — сказал он, — но в данный момент затрудняюсь иметь по ним суждение. Я вызову вас завтра, может быть после-

завтра. Время терпит, — прибавил, иронически улыбнувшись, царь и встал, протягивая руку.

Витте, низко поклонившись царю и царице, вышел.

— Он есть негодяй, — передернувшись в кресле, проговорила Александра Федоровна.

— Сколько раз, Алис, я говорил тебе, что по русски не говорят «он есть». Это по немецки. По русски говорят просто: «он негодяй». — Император захохотал.

Был уже вечер. Дождь перестал. В окне: — дворцовый парк застывал в мокрых, ароматных сумерках.

5.

Император тосковал. Осенями он выезжал в беловежские заповедники. За охотничьим завтраком пил с егерями сливянку. Стоял на номере, замирающе слушая гон. Заслышав от песенного гона бегущего зверя, царь чувствовал удары сердца, было неизъяснимо ощущение подброшенной двустволки.

В заповедники царь ехать не мог. С ужасом думал он о приезде вел. кн. Николая Николаевича. На приезде настояла родня. Царь боялся дядю. Великий князь громаден, шумен, криклив, голос, словно великий князь командует на плацу дивизией. Князь пересыпал речь грубостями.

Но он уж прибыл из тульского имения «Першино» в Зимний дворец. Пока спешно мыли, чистили белоснежный пароход «Император», князь ходил по кабинету барона Фредерикса, грандиозными, раскидистыми шагами, словно вот, вот разорвется. Он был в серосиних рейтузах с золотым позументом.

Рыжий лис с князем был откровенен. Немало шантанных шуток спаяло их молодость. Фредерикс говорил князю тоном дружбы:

— Видишь, что происходит? Чорт знает что! Не можешь представить, что у меня в именьи творится, в Сиверской? Прямо, что-то вроде революции. Без

нагайки тут не справишься. А нагайка не Митьки Трепова нужна, я в нем разочаровался, а дедушкина должна быть нагайка, романовская!

— То-есть? — глухо прокричал великий князь, останавливаясь раскорякой, засунув в рейтузы руки.

— Твоя, Коля.

Великий князь смотрел мутно, усмехающимся взглядом. Из серосиних рейтуз медленно вынул блестящий браунинг.

— Видал? — закричал он. — Ну так и знай! Еду к государю, буду умолять подписать манифест. Если не подпишет, в кабинете пущу себе пулю в лоб!

Не дожидаясь, великий князь гигантскими, разорванными шагами вышел. Гаркнув лакеям, конвою, адъютантам, отплыл в Петергоф.

Фредерикс был ошеломлен. Долго сидел не понимая. Наконец позвонил герцогу Лейхтенбергскому. Герцог сказал, что перед отъездом из «Першина», в имении Николая Николаевича состоялось заседание. По разлинованному листу бежало блюдце и говорило, как должно поступить в Петергофе. Блюдце было за манифест. После того, в старом доме в темноте тихо сами собой завертелись стулья.

6.

Николай II-й был бледен. В ожиданьи великого князя бледность усилилась. А когда князь вошел, голос оказался громче представляемого. Великий князь ходил в непонятном возбуждении, грозившим перейти границы. «Уж не пьян ли?» — пронеслось у императора, он мягко спросил:

— Ники, ты завтракал?

— Завтракал, — прокричал великий князь и внезапно выхватил блестящий револьвер из серосиних рейтуз.

— Что такое? — привстал бледный император.

— Я верный сын бога, родины и моего государя, — торжественно начал великий князь.

7.

В петергофском дворце, на берегу моря, в присутствии счастливого графа Витте, недовольного барона Фредерикса и веселого, с легким букетом красного вина, Николая Николаевича, Николай II-й сидел за столом, стоящим на возвышенности, где обычно принимал доклады. Перед царем лежал манифест. Минута была торжественна. Царь стал читать:

«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей, великой и тяжелою скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным и печали народные его печали...»

Дочитав, царь перекрестился. Сел, детским почерком подписал «Николай».

— Поставить дату? — спросил он Витте.

Витте почтительно наклонил голову.

Царь поставил дату и написал «Петергоф».

8.

В кресле, как всегда, бледный, закутанный во что-то шерстяное, сидел Гоц. Рядом, контрастируя мясной полнотой, курил папиросу Азеф. Видно было, что они долго разговаривали. Чернов вошел в профессорской шляпе.

Гоц подал «Журналь де Женев».

— Прежде всего читай, — сказал он.

— Ну, что скажешь? — спросил, следя за лицом Чернова, Гоц.

— То есть, как что? — отходя, беря стул, садясь ближе, сказал Чернов. — Новый шаг, довольно крупная уступка. Маневрируют.

— Ловушка?

— Приходится бабе вертеться, коль некуда деться.

— Ну от тебя то Виктор я этого не ожидал, — процедил, попыхивая папироской, Азеф.—Сейчас Ми-

нор был, все кричал, мы де наивные люди, это, чтобы нас эмигрантов в Россию заманить. Видите ли, расконспирируемся, они нас сгребут и крышка. И ты думаешь для нашей милости Россию вверх ногами поставили? Переменили самодержавие на конституционный строй! Высоко ценишь, Виктор!

— Да двойственный характер манифеста в глаза бьет! Конечно, маневр! Divide et impera! Вот что! Успокой оппозицию, раздави революцию!

— Ты не прав, Виктор,—сказал Гоц,—первым словам манифеста я не придаю значения. Это фасад, стремление уберечь «престиж власти». Конечно, правительство долго будет барахтаться, предлагать обществу услуги для подавления крайностей. Но ясно: — со старым режимом кончено. Это конец абсолютизма, конституция, новая эра. И нечего говорить о ловушках. Как после крымской кампании был предрешен вопрос освобождения крестьян, так после японской — конституция. Нашу тактику борьбы это разумеется сильно меняет.

Вошел Савинков, здоровался, а Гоц говорил:

— Вот возьми, например, хотя бы Ивана Николаевича с Павлом Ивановичем, им остается сказать «ныне отпущаеши». С террором кончено. Может ты другого мнения?

— Да, да, — повышенно быстро, даже неразборчиво, заговорил Чернов, — в этом ты прав, с террором надо повоздержаться, это верно, то есть не то, чтобы кончено совсем, — заметил он пренебрежительную улыбку Савинкова, — а надо держать под ружьем, чтобы в любой момент снова двинуть.

— Засолить, так сказать, впрок, — перебил Савинков.

— Уж там понимайте, с укропцем, без укропца, а, конечно, подсолить придется.

Вошли Шишко, Авксентьев, Сухомлин, Фундаминский, Ракитников, Тютчев, Натансон, группа боевиков. Возбужденные, видимо только что спорившие. Войдя, сразу заговорили. Савинков отсел в угол. Го-

ворил Шишко, развевая бороду, страстно, как юноша, слегка пришепетывая. Кричал, что надо сейчас бросить партию к массам, широким фронтом вести наступление.

— Постой, Леонид, а террор?

— Террор? — остановился Шишко. — Что же террор? Террор пока конечно невозможен.

— Правильно! Держать под ружьем, не приступать к действию.

— Разрешите! — крикнул Савинков.

К нему обернулись. Одной рукой Савинков держался за широкий борт пиджака. Другая была в кармане. Вид был вызывающ. В фигуре пренебрежение. Не меняя позы, говорил, что надо бить правительство на улицах, в зданиях, на площадях, во дворцах и тогда вспыхнет настоящая Македония, о которой мечтал повешенный Каляев. Он был страстен, красив в речи.

— Надо понимать что такое террорист, надо знать, что престиж партии поднят террором, надо уметь не бояться славы террора, славы смерти наших товарищей! Только нанося удары ножем, револьвером и бомбой мы завоюем подлинный контакт с массами и подымем всероссийскую революцию. Я слышу речи,чтоб держать боевую под ружьем, «засолить». Как боевик протестую против оскорбительной постановки вопроса. Нас нельзя засаливать впрок! Мы не огурцы, мы революционеры, для нас психологически невозможна такая постановка вопроса! Мы дали партии славу, мы дали партии средства, так нечего ж, ослепившись какими-то конституциями, откидывать нас, как ненужный партии хлам! Мы отдали жизнь террору и, если я не ошибаюсь, мы террористическая партия! Мы не смеем склонять свое знамя в момент, когда его надо широко развернуть над Россией красным полотнищем и поднять ветер революции! Мы террористы-боевики мыслим так! Мы не дадим выбросить нас в самый острый момент за борт и тем погубить приобретенную славу партии освященную именами Сазонова, Каляева. Нет, я не верю, что сверты-

вается знамя террора. Напротив мы должны дать, в гимне начавшейся музыки революции, могучее кресчендо! Пусть дадут задание совершить самый смелый, самый отчаянный акт! Мы возьмем его. Пусть скажут ворваться в Зимний с поясами, наполненными динамитом! Мы это сделаем. Во имя революции, во имя славы террора! И это произведет больший взрыв в стране, чем газетное объединение с массами! С массами объединяет кровь, а не типографская краска! Я не знаю, как решит ЦК, но думаю что выражаю мнение всех боевиков,говорю от их имени: — мы не опустим знамя террора, которое вымочили в крови товарищей, которое нам свято! Мы хотим жертв и пойдем на них во имя всероссийской революции!!

Савинков чувствовал возбуждение от охватившего подъема. Речь была удачна. На лицах боевиков он читал восторг. Не видел только лица Азефа. Азеф сидел спиной.

— Нечего мудрить над революцией, молодые люди, уж позвольте обратиться так, — встал старый Минор, потряхивая бородкой и кудельками, — революции, батюшка, со стороны ничего не навяжешь, не прикажешь, спасительных рецептов ей прописывать нечего, она идет, она налицо и патетические речи Павла Ивановича художественно хороши, но не к лицу в данный момент. К чему тут револьверные выстрелы?

Савинков стоял бледный. Он ждал Азефа. Встал Фундаминский, поправил усы, снял пенсне, заговорил гладко.

— Насущной задачей партии в данный момент является аграрный вопрос, разрешение которого будет исторической миссией партии. Террористическая борьба отжила свое, отнимая людей и средства, она ослабляет партию, мешает разрешить ее главную экономическую задачу.

Савинков ждал речи Азефа. Заговорил Гоц, соглашаясь с Фундаминским, Сухомлин, соглашаясь с Гоцем, Натансон, соглашаясь с Сухомлиным, Авксен-

тьев, соглашаясь с Натансоном. Последним встал Азеф. Его слушали все.

Он стоял, искривясь толстым телом, не отрывая руки от кресла.

— Я буду краток, — рокотал он уверенно и твердо, — вмешательство в ход стихии социальных масс считаю гибелью. Мы помогали революции выйти из глухих берегов, она разливается. Мы должны заботиться, чтоб не быть оттертыми ею. Я шел с партией, отдавая свою жизнь. Теперь пора многое пересмотреть из программного и тактического багажа. Говорю, как будет достигнута конституция, стану последовательным легалистом. Что ж касается, чтоб держать под ружьем БО, это слова. Держать под ружьем БО нельзя. Я выслушал членов ЦК, беру на свою ответственность: — боевая организация распущена.

Азеф грузно сел и взял с пепельницы недокуренную папиросу.

9.

Когда кончилось собрание, Савинков подошел к Азефу.

— Что это значит, ты распускаешь БО?

— А ты не слыхал все эти разговоры? Как же можно вести дело? — Азеф ласково улыбнулся, похлопывая Савинкова по плечу: — Не кручинься, барин, найдем работу.

К ним подошел Чернов.

— Иван, пойдемте закусим в «Либерте», жрать хочется — желудок сводит.

— Это у тебя от речей. Пойдем, Павел Иванович, выпьем за упокой, — гнусаво прохохотал Азеф.

Чернов, Савинков и Азеф сидели в красноватом ресторанчике «Либерте». Красноват он был от красных лампионов, от пола, затянутого красным сукном. Чернов любил ресторан за интенсивно-красный цвет. Стол был дальний. Народу в ресторане не было.

Если не считать женщину и мужчину, целовавшихся в полутемной кабине.

— Ну и манифестик! Весь день проболтались, не заметили даже, что не жрали! Это вам скажу манифестик! Настоященский! — хохотал Виктор Михайлович.

Азеф ел, не слушая. Лучше всех держал нож и вилку Савинков. Держал, как учила в детстве Софья Александровна. Чернов зажимал попростецки в кулаке. А Азеф ковырял котлету в достаточной мере кровожадно, что даже заметил отошедший от них метр д' отель.

— Да, интересное времячко. Сам в Россию поеду, своими глазами прикину, как это выходит. Вести то хороши, да свой глаз ватерпас.

— Если будет настоящая конституция, нам работать не придется, — прохрипел Азеф, выплевывая жилы на тарелку.

— Что ты, Ваня, в таком пессимизме, кто же работать-то будет, а?

— Кадеты. Нас ототрут.

— Чудишь, толстый, чудишь, — захохотал Чернов.

— Вот увидишь.

— Нет, какую чудовищную ошибку совершает ЦК! Вы поймете это через полгода, через год, уверяю вас. Но тогда может быть уже поздно, — говорил бледный, взвинченный Савинков.

— А вы все о своем? Кто про что, кузнец про угли. Преувеличиваете, Павел Иванович, преувеличиваете, голубок. Ошибки не сделано. Правильно поступлено. Разумно, хладнокровно, хотя конечно... без эстетики... — расхохотался Чернов, вскидывая сытым животом.

— Дело тут не в эстетике, Виктор Михайлович, а в здравой политике. Бросаете террор, когда он нужнее всего. А если хотите насчет «эстетики», то скажу, что боевое дело надо понимать. Сейчас создалась боевая, а через год может ее и не создадите. Люди сжи-

лись, сработались, верят друг другу. Да наконец люди отдали себя террору, а теперь что же? Писарями сделаете? У нас к террористу такое отношение — болезненно смеялся Савинков, — нужен, иди, бей, взрывай, подставляй лоб, нужда кончилась — ко всем чертям, с тобой не считаются, а то, что может с бомбами свою душу выкинул, не в счет, сдачи не дается.

— Ах душа-душа, душа-то может и хороша, да когда живет не спеша, кормилец, Борис Викторович. Дело тут у вас вижу не столько революционное, партийное, сколько личное, голубчик. Ну что же, личные драмы, голубок, всякие бывают, ну влюбились в бомбочку и расставаться жалко, — тонко смеялся Чернов, — а расстаться, хоть может и временно, а нужно, голубок, нужно, ничего тут не поделаешь. Дело то уж слишком ясное: — самодержавие, борьба, поэзия, романтизм жертвы, будить героизмом массы, это все, батюшка, понимаем, дело неплохое к тому же красивое, прямо говорю красивое дело, за то и ореол носите «герой, мол», даром он ореол-то тоже не дается, не дается. Но вот открылись новые горизонты, вы и пасуете, бомбочку-то бросить жаль, жаль расстаться то с ней и с ореолом. Вы меня уж по дружбе то простите, ореол то вещь тоже притягательная, чего уж там говорить — все мы люди, все человеки, рисовали поди смерть то красивую, смерть за Россию, как Егор, как Иван, да... нет уж ничего тут не поделаешь, а насчет того чтобы в Зимний то вторгаться, взрываться с динамитными поясами, так простите это же такая отчаянная романтика, что ужас! Понимаю, конечно, хочется вам эдакое динамитное кресчендо произнести, без него, чудится, клякса выйдет, но, голубок вы мой, ни к чему затеяли, пустенькое предложение, личная драма, личная...

После плотной еды Азеф ковырял в зубах зубочисткой. Трудно было понять, слушает он или нет. Азеф смотрел в одну точку на сиденье пустого стула.

— Ну хотя бы и личная! — говорил Савинков, — понимаю, что ЦК всех личных драм на учет взять не может. Но дело то в том, что личная драма, как вы говорите, — драма всех боевиков, товарищей, а их человек 50 в наличии, людей довольно надо полагать решительных, людей террор бросать не желающих. Скажите вы вот мне на милость, что же я и товарищи должны теперь делать? Убить Дурново? Запрещаете. Убить Витте? Запрещаете. Убить Николая? Тоже, оказывается, не ко времени. Так что же? — развел руками Савинков, раскрывая угольковые монгольские глаза. — Может одного вы мне все таки не запретите? Подойти на улице к какому-нибудь жандарму Тутушкину и всадить в него последнюю пулю! Это ведь карт вашей игры, надеюсь, не смешает? А на мельницу революции все же вода! Тутушкин не Дурново, не Витте, не царь всероссийский, пройдет незаметно, для меня же по крайней мере не будет изменой всему моему прошлому.

— Это уж, тут ответить не берусь, дело ваше, хозяйское, — заливисто тоненько захохотал Чернов и потребовал рюмочку бенедиктину.

— Пойдем, — гиппопотамом зевая, проговорил Азеф.

— Погоди, толстый, посошок выпью и пойдем.

10.

Женева спала тихими, сонными улицами. Рю Верден, по которой шли Азеф и Чернов, погасала постепенно. Ехал черный велосипедист. Доезжая до фонаря, поднимал шест. Квартал улицы погружался в мрак. Черный человек катился дальше. Чернова с Азефом он проехал, не обратив вниманья. Они шли в полной темноте.

— Все эти Тутушкины, Зимний дворец, разумеется, пустяки, — рокотал Азеф. — С террором надо покончить, это верно, только вот одно еще

осталось. Это имело бы смысл, логически завершая борьбу и политически не помешало бы.

— О чем ты?

— Охранное взорвать? А?

Улица была пуста, темна. Грохнули жалюзи. Все замерло.

— Как ты думаешь, Виктор? Стоящее дело, правда? Кто может что-нибудь возразить? Охранка живой символ всего низкого, подлого в самодержавии. И пойми — просто сделать. Под видом кареты с арестованными во внутренний двор ввезем пять пудов динамиту. Ррррраз! Никаких следов от клоаки! Все к чортовой матери со всеми генералами!

— Как тебе сказать, дело конечно хорошее, — проговорил Чернов, — хотя тоже, пожалуй, романтика больше, а? — он взял Азефа под руку, он шли медленно. В дверях магазина в странном костюме, похожем на чуйку, сидел сторож, сидя спал.

— Что ты, какая к чорту романтика! Нужное дело, ты подумай!

Они стояли на углу. Расплывался синий рассвет. Город прорезался в тумане. Туман шел к небу. Оголились здания. Появлялись спешащие люди.

— Нннет, Иван, не знаю, пожалуй и ни к чему.

— Да нет, важно, Виктор, очень важно. Я еще вернусь к этому плану. Ты подумай.

11.

Утро было как тысяча утр, как две тысячи. Самое обыкновенное, с солнцем, небом, легким ветром. Но в квартире Чернова совершалось необычайное. Виктор Михайлович, как пошел в утреннюю уборную, так и запел — «Как король шел на войну».

Громогласно пел в уборной Чернов, плещась водой. Он твердо решил ехать в Россию. Самому увидеть революцию. Но песня о короле, отправившемся в «чужу дальнюю страну», внезапно оборвалась. Виктор

Михайлович на всю квартиру закричал, стараясь придать голосу еврейский акцент.

— Настенька, милая, чорт знает что! Не акцентирую! — кричал Виктор Михайлович из уборной.

— Но как же, Витя, ты поедешь по этому паспорту?

— Шут знает! Не знаю, — и Чернов рассматривал последний, оставшийся партийный паспорт на имя Арона Футера, снова идя корридором, напевая — «Как король шел на войну».

12.

Кроме прикованного к креслу Гоца, все эс-эры уезжали в подымавшуюся Россию. Ехали с волнением, надеждами. Ехал Азеф, ехал Савинков. В отеле «Мажестик» чемоданы Азефа были увязаны. Он перечитывал письмо певицы «Шато да Флер» — Хеди де Херо. Конечно, Хеди была не де Херо. А просто Хедвиг Мюллер из саксонской деревеньки Фридрихсдорф. Но среди кокоток русских кабаков Хедвиг гремела, как „La bella Hedy de Hero“ и, став подругой вел. кн. Кирилла Владимировича, ездила с ним даже на войну с японцами.

«Доброе утро Hänschen! Семь часов, сейчас ты вставает и позевывает по тому что еще очен рано. После чая гуляет в красивый парк. Я спросила тебе как здоровье? Думаю хорошо, здоровье лучше (besser) чем последний время в Петербург. Ну теперь я встаю... Время после обеда. Я ложусь на столе балкона, видаю легкие тучки, видаю Eisenbahn. Печалю оттого, что не могу притти к тебе. Но я знаю увидимся и это мне очень радоваться. Вспоминаю что ты не любит шоколад, но я знаю что тебе нравится горячий чай и буду вариться его тебе. Я очень обрадована получить твой письмо, что ты хорошо поправил свой здоровье. Я хочу подарить тебе чудный Kissen. Я

знаю что полежать этот Kissen очень надо для тебя. Пожалуйста писай мне по немецки. Хеди.»

Азеф достал открытку, обыкновенную «карт-посталь», с изображением роскошной брюнетки, декольтированной в отлет. В волосах эспри. Зубы обнажены в запрокинутой улыбке. Черты германки определенны, ясны. Хеди очень полных, красивых форм.

Даже глядя на открытку Азеф почувствовал возбуждение. Рот развела растяжка приятных воспоминаний. Он знал запрокинутую шею, руки, ноги, губы. Они встретились перед убийством Плеве в «Аквариуме», где выступала Хеди. Они ели ананас.

Азеф любил Хеди. И сел писать ответ:

„Meine süsse Pipel!

Понимаешь ли ты и знаешь ли, как я о тебе мечтаю. Вот сейчас передо мной твоя открытка, которую целую. Ах, как я бы хотел, чтобы ты была со мной, как бы мы мило провели время. С деньгами у меня не важно, но все же я присмотрел тебе красивую шубку из норки, какую ты хотела иметь. Мейне зюссе Пипель! ты должна обставить нашу квартирку уютно, как я и ты любим. Я вышлю тебе деньги, деньги у меня будут. Перед приездом я тогда тебе пошлю телеграмму. Выкупи обстановку, которую сдали на хранение Подъячеву на Зверинской, как получишь деньги. Мы славно проведем время в Петербурге. Я отдохну с тобой, мы не будем расставаться. Как я мечтаю с тобой снова проводить те ночки, как раньше, представляю тебя, целую мысленно тебя часто, часто. А ты? Как ты ведешь себя? Смотри, я не люблю твоих старых знакомых. И прошу не встречайся с ними. Пора уже быть „solide“ и „anständig“. Мне тут раз не повезло. Хотел выиграть для тебя в казино, играл на твое счастье, чтобы нам в Петербурге было еще веселей. Удивительно, всем счастье, а папочке никогда. На втором кругу сорвали. Понимаешь как я

был зол. Ну буду писать тебе скоро, помни и думай о твоем Муши-Пуши.

Всю мою либе зюссе Пипель, папочка щекочет шершавыми усами.

Dein einziges armes Hänschen".

Азеф заклеивал письмо жирным языком, закатив глаза так, что видны были только желтые белки.

13.

Савинков писал: —

«Дорогая Нина! Я пишу тебе «дорогая», а сам не знаю, — дорогая ты мне или нет? Нет, конечно, ты мне дорога, а потому и дорогая. Иногда я думаю, что теперь, когда встретимся ты не поймешь меня. Не найдешь, кого знала и любила. Нового, может быть, разлюбишь. Жизнь делает людей. Иногда я не знаю: — живешь ли ты? Вот сейчас вижу: — в Петербурге осенняя грязь, хмурится утро, волны в Неве как свинец, за Невой туманная тень, острый шпиль — крепость. Я знаю: в этом городе живешь ты. Порой ничего не вижу. Люди, для которых жизнь стекло, — тяжелы.

Недавно я уезжал. Был ночью на берегу озера. Волны сонно вздыхали, ползли на берег, мыли песок. Был туман. В белесой траурной мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Влажное и водное обнимало меня. Я не знал, где конец, начало, море, земля. Ни звезды, ни просвета. Мгла. Это наша жизнь, Нина. Я не знаю в чем закон этой мглы? Говорят, нужно любить человека? Ну а если нет любви? Без любви ведь нельзя любить. Говорят о грехе. Я не знаю, что такое грех?

Мне бывает тяжело. Оттого что в мире все стало чужим. Я не могу тебе о многом писать. Последние дни стало тяжелей. Помню, я был на севере, тогда, в Норвегии, когда бежал из Вологды. Помню пришел

в первый норвежский рыбачий поселок. Ни дерева, ни куста, ни травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаном тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. И все кругом — рыбаки, рыба, океан — мне чужие. Но тогда не было страшно, у меня было *мое*, где то. Теперь я знаю: — моего в жизни нет. Кажется даже, что жизни нет, хотя я вижу детей, вижу любовь. Кажется есть только — смерть и время. Не знаю, что бы я мог делать в мирной жизни? Мне не нужна мирная жизнь. Мне нужна, если нужна, то не мирная, я не хочу мирной ни для себя, ни для кого. Часто думаю о Янеке. Завидую *вере*. Он свят в своей смерти, по детски, он верил. В его муках поэтому была правда. А во мне этого нет. Мне кажется, как он я не умру. Люди разны. Святость недоступна. Я умру быть может на том же посту, но — темною смертью. Ибо в горьких водах — — полынь. Есть корабли с надломленной кормой и без конечной цели. Ни в рай на земле, ни в рай на небе не верую. Но я хочу борьбы. Мне *нужна* борьба. И вот я борюсь ни во имя чего. За себя борюсь. Во имя того, что я хочу борьбы. Но мне скучно от одиночества, от стеклянных стен.

Недели через две я наверное приеду. Я хочу чтоб ты жила возле меня. Люблю ли? Я не знаю, что такое любовь? Мне кажется, любви нет. Но хочу, чтобы ты была возле. Мне будет спокойней. Может быть это и есть любовь?

В прошлый вторник я переслал с товарищем 220 рублей.

Твой *Борис Савинков*».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

1.

Премьер-министр граф С. Ю. Витте был разбужен телефонным звонком. — «Кого чорт дерет в такую рань», — проговорил старый министр, подходя к телефону в халате.

Отложив трубку, он крикнул: — Матильда!

— Ну?! — отозвалась графиня. У нее был резкий голос и вульгарная внешность.

— Я говорил с департаментом, — сказал Витте, — Рачковский настаивает, чтобы переехали в Зимний.

— Что за новости? — протянула графиня, жить во дворце было ее мечтой.

— Говорит, здесь оставаться нельзя, отдаленно от министерств, не ручается за охрану жизни.

— Хороша охрана, нечего сказать, — резко рассмеялась графиня, — не может охранить жизнь премьер-министра!

Графине нравилось быть женой премьер-министра.

— Ну?

— Переедем конечно.

2.

Витте был в годах, но силен. С волей соединялся ум, безпринципность и ловкость интриги. На фоне падения империи он появился, как враг, достойный страстной борьбы.

Старый Витте слышал приближающийся ход революции. Волновал Совет Рабочих Депутатов. О Совете узнал и царь. Скрывая злые вести, придвор-

ные подали императору черносотенную юмореску «Плювиум». И царь прочел стихи, которым весь день смеялся:

«Милостивый государь,
Разрешите два вопроса:
Почему один Носарь,
А другой совсем без носа?»

Царь догадался, что без носа, это же Витте! граф Сахалинский! — Ха-ха-ха — хохотал царь в рабочем кабинете. — Но кто такой Носарь? Je ne sais pas. — Царь позвонил Фредериксу. Так царь узнал о первом Совете Рабочих Депутатов, с председателем Носарем-Хрусталевым.

Витте был хитр. Витте вызвал генерала Рауха, состоявшего при особе командующего петербургским военным округом, вел. кн. Николая Николаевича. Прося при объявлении Петербурга на военном положении, привести распоряжение в действие без задержки. Но за генераломРаухом, на тех же рысаках, подъехал помощник Николая Николаевича, генерал Газенкампф.

Расправив широкие русские усы на немецком лице, голосом с мороза ясным, генерал заявил в приемной о немедленном свидании с премьером. Дверь к Витте растворилась.

— Вы от главнокомандующего, генерал?

— Да, ваше сиятельство. С личным поручением его высочества.

Витте был сух и великолепен.

— Его высочество, — говорил Газенкампф,—просит ваше сиятельство, в случае надобности объявить Санкт-Петербург и окрестности не на военном, а в положении чрезвычайной охраны.

Глаза генерала, чуть чуть на выкате, смотрели в глаза премьера.

— Не понимаю, какая разница, генерал? Надеюсь дело не в словах?

— В случае чрезвычайного положения, передача дел в военные суды и вообще смертные казни, — баритонально говорил генерал, — зависят от министра внутренних дел Дурново, в случае военного положения это ложится на его высочество, следоватльно его высочество, а никто иной станет мишенью революционеров.

Улыбка прошла под усами премьер-министра и ушла в бороду.

— Я понимаю теперь разницу, генерал, — проговорил Витте, не глядя в лицо Газенкампфа, — передайте его высочеству, что поступлю согласно указанию.

Генерал встал. Руки обоих были крепки.

Витте, смотря в уходящую спину генерала, улыбался.

3.

Опроборенные до отчаянной глянцевитости чиновники сновали в приемной премьер-министра, распределяя докладчиков по провинции. В Воронежской, Саратовской, Харьковской, Тамбовской, Черниговской шли красные петухи, ножи, захваты земель помещиков. Премьер-министр слал подавлять генералов: — Сахарова — в Саратовскую, Струкова—в Тамбовскую, Дубасова — в Черниговскую. Везде разъясняли, как умели, генералы неправомочные поступки. Только генерал Струков, не сумел заинтересоваться. Как выехал, так и запил во вверенной губернии, опустившись даже до пьянства с тамбовскими телеграфистами. Тамбовская же губерния продолжала волноваться.

У старого, большого человека уменьшались дни. Двадцать четыре часа казались минутами. Витте не успевал. Он давил в Прибалтике крестьян-латышей. Волнения вспыхивали в Польше. Вызывал генерала Скалона, требуя бесжалостных мер. В Забайкалье вспыхивал бунт армии. Слал генералов Ренненкампфа, Меллер-Закомельского военной силой восстанавливать

движение великого сибирского пути. В Петербурге вспыхнули демонстрации. Но это было б не страшно, если б не явилась на прием дама в трауре, давшая сведения о готовящемся вооруженном восстании в Москве.

По ночам старик чувствовал бессилие. Казалось, что кружится голова. Это было, вероятно, переутомление.

4.

Савинков жил Леоном Родэ, в Петербурге, на Лиговке в меблирашках «Дагмара», в просторечии называвшихся пипишкиными номерами. С утра уходил на Среднюю Подъяческую в редакцию «Сын отечества». Там архиереи партии в табачном дыму решали, как отдать землю крестьянам с выкупом иль без выкупа. Кричали о Витте, революции, манифесте 17-го октября. В боковушке собирались боевики. На массивном диване, массивный Азеф, в кадильном куреве папирос. Казалось бы бить Тутушкиных. Но Савинковым владела тоска. Ходил Петербургом, не оглядываясь на филеров, пил, было мало денег, много грусти. Планы Азефа: — взрыв Охранного, арест Витте, взрывы телефонных, осветительных проводов — слушал безучастно.

— Что ты, Павел Иванович, — недовольно рокотал Азеф — то Тутушкины, динамитные пояса, то слова не выжмешь.

— Ерунда все, Иван. Нужно возродить боевую. К чему все это? Разве это сейчас надо? — идя с заседания, говорил Савинков.

— Конечно, не это, — кряхтел Азеф.

— Так ты думаешь, боевая возродится?

Несмотря на него, а смотря в дождливый, промозглый петербургский ветер, налетающий с Невы, Азеф бормотал неразборчиво:

— Зависит не от ЦК, а от Витте. По моему старичок сработает на нашу мельницу. — Азеф закаш-

лялся, в кашле выпуская на тротуар слюну. Откашлявшись, догнал Савинкова.

Из ресторана «Кармен» вылетали скрипки. На 16-й линии казался уютен «Кармен» в петербургскую ветренность. Азеф вошел в ресторан, заполняя собой дверь, задевая за косяки. Савинков шел за ним.

— Ты что? — смотрели в карту, когда лакей лепетал детской беззубой челюстью о том, что бараньих больше нет, а свиных тоже нет.

— Мне, голубчик, яичницу!

— Подвело животы! — раскатисто хохотал Азеф, — то-то боевую возродить!

— Не в том, Иван, суть. Денег нет, деньги будут.

— Где найдешь?

— Не бойся, в провокаторы не пойду. В том суть, что ни во что кроме террора не верю. Отдал делу силы, а теперь когда нужно показать Витте — террор! — вдруг из-за какой-то тактики складывать оружие, это измена.

— Не кирпичись, барин, придет время. Тебе денег дать?

Азеф вытащил из жилетки смятую сторублевку.

— Барин ты, без подмесу, Боря — исподлобья лукаво смеялся Азеф маслинами, — пристрастился изображать англичан, ни на какую работу толком не поставишь. Скучно да «проза», либо «бомбочки», либо «стишки», — колыхал в смехе животом Азеф,—лощеный ты у нас, недаром зовут кавалергардом.

— Демократических сопель, вшивых кос не люблю, — пробормотал Савинков. Он ел с апетитом яичницу.

— Раз, — вдруг—захохотал он,—знаешь, как сейчас помню, прибегает одна товарищ к Тютчеву, при мне прямо бякает:—Николай Сергеич, вы представьте, говорит, иду сейчас по Невскому (Савинков представил запыхавшуюся женщину), — вижу, говорит, Азеф на лихаче среди бела дня, обнявшись, с дамой легкого поведения.

— Ну, а Тютчев? — пророкотал Азеф.

— Развел руками. Стало быть, говорит, нужно для дела. А другой раз кто то протестовал, видел тебя в ложе Александринки, сидит, говорит, Азеф с дамой в ложе бельэтажа, у всех навиду в смокинге, на пальце громаднейший брильянт! Ха-ха-ха. Кстати не пойму, Иван, отчего тебя бабы любят? а? Рожа твоя откровенно сказать не апостольская.

— А тебя не любят? Бабы чуткие, — говорил животом Азеф, — в тебе мягкую кость чувствуют, вот и не идут на тебя, — захохотал дребезжащим хохотом.

Ресторан был пуст, наполнен запахами пива, водки, кухни. Но выходить не хотелось. Они сидели в углу. Было видно в окно, как хлестал на улице мелкий дождь и неслась мгла, застилавшая город.

Азеф пыхтел папиросой.

— Скажи, Иван, только по правде, есть у тебя вера или вовсе нет?

— Какая вера?

— Ну в наше дело, — в социализм?

— В социализм? — пророкотал Азеф, темные глаза, смеясь, разглядывали Савинкова. — Все на свете, барин, ist eine Messer- und Gabelfrage. Ну понятно это нужно для молодежи, для рабочих, но не для нас же, смешно...

— А разрешите, товарищ, спросить, — прищурившись углями монгольских глаз, говорил Савинков, — кажется вы глава боевого комитета, подготовляющего вооруженное восстание в борьбе за социализм?

Оба захохотали. — Пойдем, Боря, — сказал Азеф, шумно поднимаясь, отставил стул.

5.

На улице охватил резкий, кружащий ветер. На крыше горохотало листовое железо. Прошла мокрая блестящая конка. После нее на улице стало темно.

— Боевой много дела, — в налетающем ветре говорил Азеф, крепко надвигая котелок.—Витте, охранка, еще вот с Дулебовым.

— Что с Дулебовым? — отворачиваясь в ветре, сказал Савинков.

—Тихое помешательство, сошел с ума. Жандармы перевели в лечебницу Николая-Чудотворца, он там записки пишет. Записки чушь, полная галиматья, но называет правильными именами. Сейчас врач наш, передает, а разнюхают жандармы, скверно. Жаль Петра, но ничего не поделаешь, обезвредить надо, — проговорил Азеф, подымая воротник.

— Петра?

Удерживая котелок, Азеф, поворачиваясь корпусом к Савинкову, сказал:

— Ну конечно, Петра. Все равно жить ему недолго, а вред может быть громадный.

— Убить?

— Он же сумасшедший.

На них налетел черный, мокрый ветер, оба перевернулись от него, пропятились несколько шагов.

— А Татарова забыл? — пробормотал Азеф в темноте, — тоже дело.

На углу, сжавшись под кожанами, дремали извозчики. Азеф и Савинков обнялись, поцеловались, разошлись до завтра.

6.

Говоря с Москвой по прямому проводу, Витте слышал гуд и кипенье лав. Витте чувствовал восстанье в просьбе присылки войск, в нелепых ответах командующего генерала Малахова. Витте выехал к вел. кн. Николаю Николаевичу просить войск для Москвы.

— Что?! — закричал великий князь. — Москва?! Восстанье? Знаю. Ну что же? Солдат? Не дам! У самого столько, чтоб охранить спокойствие императора! А Москве поделом, пусть либералы глотнут красного петуха! Недовольны? Конституции? Глотните ножа! Сговорчивей будете! Пусть купчишек Морозовых пощупают колом! У меня нет войск для Москвы, ваше сиятельство!

Витте схватился за голову, выбежав от человека в гигантских серосиних рейтузах с золотом, — «Помешательство!» — бормотал он, мчась в Петергоф умолять царя.

Николай II играл с Воейковым на бильярде. Клал сложный шар от трех бортов в середину, когда доложили о премьер-министре.

— Что ему надо от меня! Я выгоню его вон! Он не дает мне покоя!

— Ваше величество, — склонил лысую голову с пушистыми усами Фредерикс, — вопрос кажется государственной важности, у премьер-министра срочный доклад о московском восстании.

— Позовите, — проговорил император. Идя в соседнюю комнату, оттирал намеленную ложбинку меж большим и указательным пальцами.

— Здравствуйте, Сергей Юльевич, очень рад вас видеть. В чем дело?

— Ваше величество, две просьбы, две мольбы, — задыхаясь проговорил Витте. — Москве нужны войска, со дня на день готово вспыхнуть восстание.

— Ну и чудесно! Мои войска пропишут им такую ижицу!

— Ваше величество, верных войск нет, московский гарнизон распропагандирован, есть донесения.

— Какая ерунда! Мои войска не могут быть распропагандированы, граф! — обидчиво проговорил царь. В бильярдной раздался удар и звон лузы. Это клал Воейков.

— Необходимо, ваше величество, назначение нового генерал-губернатора, Дурново непопулярен. — Витте задыхался.

— Кого же? — раздраженно сказал император.

— Генерал-адъютанта Дубасова, ваше величество.

— Вызовите телеграммой.

— Слушаюсь. Но, ваше величество, относительно войск?.. Я был у командующего, его высочество отказывает, ссылаясь на то, что Москва виновата.

— Ну конечно же! — вскрикнул царь, вставая, нервно заходил по комнате. — И вы не спорьте пожалуйста, может вы хотите защищать этот преступный в отношении меня город? Эти Трубецкие, Голицыны, Морозовы, Гучковы! Пусть...

— Ваше величество, в случае победы революционеров...

— Победы? — проговорил изумленно царь, останавливаясь перед министром.

— Восстание может быть грандиозным. Войска не сдержат, в случае победы революция разольется по империи. Лучше подавить начавшуюся бурю, чем быть в ее океане, ваше величество.

Дергаясь лицом, император ходил по комнате. Наконец он остановился.

— Хорошо, только для вас, я пошлю в Москву, я дам распоряжение его высочеству.

— Надо немедленно, ваше величество.

— Сколько войск? — царь сел за стол, взял карандаш, отрывая лист от блокнота.

— Полк гвардейской пехоты, сотню кавалерии, несколько пушек.

Император писал детским почерком на клочке бумаги:

> «Дорогой Ника! Пошли в Москву полк гвардейской пехоты, сотню кавалерии, несколько пушек. Лучше подавить начавшуюся бурю, чем быть в ее океане. Николай».

Запечатав, император обратился к Витте.

— Я посылаю это с фельдъегерем к главнокомандующему, можете быть спокойны, граф, — иронически улыбнулся император.

— Ваше величество, я беспокоюсь за своего государя и династию.

Он показался льстивым, притворным.

— Обо мне, граф, не беспокойтесь. Я достаточно знаю свой народ.

Царь проводил Витте к другой двери, не через бильярдную. Когда Витте вышел, император легкими, торопливыми шажками пошел к бильярдной и отворив дверь, крикнул Воейкову:

— А я слышал, ты играл здесь без меня? Ты спутал партию, — сказал он недовольно.

— Мы поставим новую, ваше величество.

Маркеры в позументных костюмах бросились ставить пирамидку. Царь мелил ложбину меж указательным и большим пальцем.

7.

За два дня до сигнала к вооруженному восстанию в Москву из Курска прибыл генерал-адъютант Дубасов и из Петербурга Евно Азеф. Восстание подавили. И когда Пресня дымилась кровью, бежав из Москвы и Петербурга, ЦК партии эс-эров открыл съезд у водопада Иматра, в гостинице «Туристен».

На заседаниях съезда Азеф сидел мрачный.

— Эх, Иван Николаевич, не отдавать бы Москвы семеновцам!

— Что же поделаешь, — разводил он плавниками-ладошками, — так сложились обстоятельства.

Азеф с речами не выступал. После Москвы знал силу. Ждал просьб. Просьбы пришли. В новую боевую организацию вошли: — женщины: Мария Беневская, Рашель Лурье, Александра Севастьянова, Ксения Зильберберг, Валентина Попова, Павла Левинсон, мужчины — Савинков, братья Вноровские, Моисеенко, Шиллеров, Зильберберг, Двойников, Горисон, Абрам Гоц (брат Михаила), Зензинов, Кудрявцев, Калашников, Самойлов, Назаров, Павлов, Пискарев, Зот Сазонов (брат Егора), Трегубов, Яковлев и рабочий «Семен Семенович».

Базой по изготовленью снарядов Азеф сделал — Финляндию. А первыми актами — убийства — генерала Дубасова, генерала Мина, П. И. Рачковского, министра Дурново, адмирала Чухнина.

8.

На явочной квартире на Фурштадской Савинков, придя с Марией Беневской, застал Азефа мрачным и расстроенным. Да и сам волновался, четыре дня не находя нигде Ивана Николаевича.

— Как я беспокоился, Иван, — пожимал двумя руками руку Савинков. Застенчиво пожала руку Азефа, хрупкая, как замерзший ландыш, Мария Беневская.

— Мы так волновались, Иван Николаевич, — проговорила и покраснела.

Азеф насуплен. На Беневскую даже не взглянул, пыхтел.

— За мной гонялись, как за зайцем.

— Ты неосторожен, Иван.

— Да, Иван Николаевич, с вашей стороны это преступление. — Беневская красива, тонка, в манерах аристократизм, хорошее воспитание.

Азеф кольнул ее правым глазом.

— Преступление, — пробормотал он, усмехаясь, — хорошо еще, что так кончилось.

— Ты, надеясь на свою нереволюционную наружность, пренебрегаешь примитивными правилами конспирации, Иван. Так нельзя, батенька, надо быть осторожнее. Что же это, случайность, иль гонялись за главой БО? Как ты думаешь?

— Почем я знаю, — лениво, нехотя пробормотал Азеф, — факт налицо, а как меня повесят, как главу БО или как члена ЦК, это неважно.

Почему Беневская влюбленно смотрела на Ивана Николаевича? До вступления в БО была толстовкой-христианкой, признавая борьбу со злом насилием. Сейчас, не расставаясь с евангелием, стала террористкой. Товарищи не понимали, каким путем строгая девушка пришла к ним? Ивана Николаевича она любила, как главу террора, на который вышла бесстрашно, борясь за счастье человечества.

— Шутки брось, Иван. У тебя нет подозрений?

Уж час, как ждал этого вопроса Азеф.

— Каких? О чем ты говоришь?

— О провокации.

— О провокации? — поднял темные глаза Азеф и расплылся в ироническую улыбку мясистостью губ. — Ха-ха-ха! Никаких подозрений конечно нет, потому что ясно и ребенку: — партия изобличила провокатора, оставив его на свободе. Так что же ты думаешь, провокатор — муха, хрупкая институтка, которая от испуга падает в обморок? Ты думаешь, — хмурясь, искажаясь говорил Азеф, — что Татаров не работает, бросил свое дело, перепугался, сел в бест? Да я голову дам оторвать, это его рука. Он нас всех отошлет на виселицу. Но что же, если ЦК этого хочется, пойдем и на виселицу, — Азеф запыхтел папироской.

— Но разве он изобличен? — взволнованно проговорила Беневская.

— Безусловно провокатор, — отрезал Савинков. После раздумья проговорил: — Иван, если мы несколько раз шли по указке ЦК, то теперь, когда удар занесен над БО, нам нечего стесняться. С твоим арестом сорвутся намеченные акты. Мы должны обезопасить себя.

— То есть как? Что ты думаешь? — нехотя бормотал Азеф.

— Убить Татарова, вот как, — сказал Савинков, смотря узостью горячих глаз в выпуклые, темные круги Азефа.

Что нужно, было выговорено. Азеф молчал. Пыхтел папиросой. Потом, бросив ее на пол, задавил штиблетой, закурил другую.

— Я думаю ты поймешь, Борис, самому мне поднимать этот вопрос неудобно. Татаров для своего спасенья обвинял меня перед Черновым.

— И что же?

— Я поставлю себя в двусмысленное положение. Могут сказать, убираю с пути человека, обвинявшего меня в предательстве.

— Какая чепуха!

Бледное лицо Беневской порозовело, изредка вздрагивали глаза, словно хотела что-то сказать и не выговаривала.

— Нет не чепуха, — медленно, лениво говорил Азеф. — Я щепетилен. Я не могу вести это дело. Потом, сам понимаешь, Татаров не генерал, не губернатор, он товарищ, бывший, но все равно, у него есть имя, биография, убивать его не так-то просто.

— Бросим психологию, — махнул Савинков, —все это так, Татаров не генерал, в былом революционер — прекрасно. Но он предатель. С слежкой за тобой над БО занесен удар. Его надо отвести. Стало быть надо убить Татарова. Ясно, как арифметика. Не понимаю наконец, почему легко убить генерала и нелегко провокатора? Это люди одного берега. Ну провокатора убить психологически несколько труднее, только и всего. Убийство же Татарова важнее сейчас убийства Дубасова.

Азеф не смотрел на Савинкова. Ждал.

— Если тебе, как ты говоришь, неудобно ставить убийство Татарова, давай, я беру его на себя.

Азеф молчал.

— Не знаю, — ответил он, — могут выйти осложнения с ЦК.

— На осложнения мы плевали. БО под угрозой виселицы, а мы будем думать о входящих и исходящих.

— Если ты уверен, что надо — бери. — Азеф бросил дымящийся окурок из мундштука и задавил его безкаблучной мягкой, шевровой штиблетой.

— Но ты то как считаешь? Необходимо или нет? — раздраженно проговорил Савинков.

— Я считаю необходимым, — тяжело подымаясь с кресла, проговорил Азеф.

9.

Чтоб убить провокатора Татарова в Варшаву выехал Савинков с Беневской, Моисеенко, Калашнико-

вым, Двойниковым и Назаровым. План был прост. Его выдумал Савинков, гуляя в желтом паре петербургской зимы.

Моисеенко и Беневская на имя супругов Крамер сняли на улице Шопена квартиру. Савинков пригласит Татарова для дачи показаний. А убьют — Назаров, Двойников, Калашников.

Двойников московский фабричный, крепкий, скуластый. Назаров тоже рабочий, выше Двойникова, легкий и высокий. Оба сильны. Но все же первый удар предоставлен рассеянному, в пенсне, спадающем с тонкого носа, студенту Калашникову. Он так настаивал, что удар отдали ему.

10.

Мимо памятника Яну Собесскому Савинков шел, крутя тростью. У квартиры с железной дощечкой «Протоиерей Юрий Татаров», длительно нажал кнопку. Дожидаясь, ни о чем не думал.

Матушка Авдотья Кирилловна торопилась надеть туфли, все не попадала. Но уж очень ей не хотелось, чтоб сын выходил отпирать — «простудится еще, господи»,—шептала она,—«да и отдохнуть только лег». — И почти бегом побежала, мягко чавкая туфлями.

— Простите, пожалуйста, — проговорил элегантный господин, стоя перед седой Авдотьей Кирилловной. — Могу я видеть Николая Юрьевича?

Авдотье Кирилловне господин очень понравился. Тихо, по старушечьи улыбаясь, она проговорила:

— Отдохнуть он лег, сын то мой, ну вы все таки пройдите в залу, я ему скажу.

Обтерев о половичек ноги, чтобы не наследить, Савинков прошел в залу. Зала маленькая, в фикусах, геранях, кактусах, с альбомами, плюшевыми скатертями, ширмами, портретами духовных лиц.

Когда скрипнула дверь и на пороге встала плотная фигура Татарова, Савинков рассматривал над диваном портрет монаха в клобуке.

— Ах, это вы? — удивленно, нерешительно проговорил Татаров и Савинков увидел: — побледнел.

— Здравствуйте, Николай Юрьевич! — весело сказал он, пожимая руку.

— Присаживайтесь, — проговорил Татаров.

— У меня к вам дело.

— Пожалуйста, — опуская бороду, сказал Татаров Он смотрел на брюки Савинкова в полоску, заметил, что ботинки грязны, «без калош ходит»,—подумал Татаров.

— Видите ли, Николай Юрьевич, члены следственной комиссии по вашему делу, все, кроме Баха (внезапно, но естественно солгал Савинков) сейчас в Варшаве. Я полагаю, в целях вашей реабилитации необходимо устроить допрос, дабы вы могли защититься, мы же с своей стороны могли бы выяснить дело. Получены новые сведения, весьма меняющие дело в благоприятную для вас сторону. Товарищи поручили мне зайти к вам спросить: — желаете ли вы дать показания?

— Я ничего не могу добавить к уже данным, — проговорил Татаров, не подымая головы. Савинков осмотрел его, опять как в Женеве, представляя, как рухнет с громом на землю под ударами товарищей.

— Но я говорю, Николай Юрьевич, в нашем распоряжении новые данные. Вот, например, вы указывали на провокатора в партии. У нас есть теперь данные, могущие быть может реабилитировать вас окончательно.

— Да, я говорил о провокаторе. И сейчас скажу, провокатор «Толстый», Азеф.

— Откуда у вас эти сведения?

— Эти сведения достоверны. Я имею их из полиции. Моя сестра замужем за приставом Семеновым. Он хорош с Ратаевым. Я просил его, ввиде личной

мне услуги, осведомиться о секретном сотруднике в партии. Он узнал, провокатор — «Толстый», Азеф.

— Ну видите, — произнес Савинков, — если вы могли бы документально подтвердить это, хотя прямо скажу, я лично полицейскому источнику полностью не доверяю.

— Я понимаю, но здесь, Борис Викторович...

— Я понимаю, Николай Юрьевич, — перебил Савинков, — но разбор этого материала — дело следственной комиссии in corpore мне поручено пригласить вас. Вы хотите притти?

Он видел, как Татаров волнуется, теребит, мнет бороду.

— А кто там будет?

— Чернов, Тютчев и я.

— А еще кто?

— Больше никого.

Татаров молчал, соображая.

— Ну хорошо, — проговорил он. — Я приду. Какой адрес?

— Улица Шопена 10, квартира Крамер. Спросите госпожу Крамер.

— Хорошо. В восемь?

— В восемь.

В передней, в приоткрытую щель смотрела Авдотья Кирилловна.

— Скажите, — остановил вдруг Татаров Савинкова, проговорив тихо: — Как же так, вы подозреваете меня и не боитесь притти ко мне на квартиру. Ведь, если я провокатор, я же могу вас выдать?

— А разве я вам сказал, что мы подозреваем вас? Я в это не верю ни одной минуты, Николай Юрьевич. Для того и приехала комиссия, чтоб окончательно выяснить.

— Ну хорошо, до свиданья, — проговорил Татаров.

— До свиданья, до завтра. Только, пожалуйста, не запаздывайте.

Легкой походкой Савинков спускался лестницей, на которой дворничиха зажигала керосиновую лампу. На улице Савинкова охватило чувство хорошо выполненного дела: — в восемь Татаров будет на улице Шопена.

11.

В доме № 10 на улице Шопена оживление началось с пяти. А с шести Беневская села в гостиной в кресло. Была бледна, глаза обвелись черным кругом. Вероятно не спала ночь. Калашников то ходил по кабинету, то что то насвистывал, то выходил в корридор, часто заходя в уборную.

В дальней, пустой комнате, согнувшись за столом писал Савинков.

Назаров и Двойников пили чай. Они были друзья с юности, как еще привезли их отцы из деревни и отдали на Сормовский в мальчики.

— Нет, Шурка, правды на свете, — откусывал сахар крепким зубом Назаров. — Во время восстания сколько народу побили, теперь дети малые по миру бродят. Бомбой бы их всех безусловно, вот что...

— Эх, Федя, — качал головой Двойников, — оно так то так, да все таки, брат, к такому делу с разлету не подходи. К такому делу надо в чистой рубахе итти, может даже я и недостоин еще, например, послужить революции, как вот Каляев.

— Брось трепать, Шурка, — хмурился Назаров, — в рубахе, не в рубахе. Надо убить? Надо. Значит концы в воду, ходи кандибобером.

Назаров допил, по привычке перевернул чашку вверх дном, утерся, сказал:

— Ну я иду со двора.

Допив чай, Двойников произнес со вздохом что-то вроде «ииэххх!» и зашумел редкими ударами сапог к окну на улицу.

— Стало быть, Марья Аркадьевна, выходите к нему вы и проведите в гостиную, тогда он отрезан. Я выйду из кабинета.

— Товарищ Калашников, скажите, вы убеждены, что это предатель?

— Да. А что?

— Я боюсь, вдруг ошибка, это ужасно.

— Какая вы чудачка, Марья Аркадьевна. Он предал товарищей, послал их на виселицу.

— Нет, я знаю, убить надо.

В это время в дверь с черного хода раздался несильный стук. Беневская и Калашников вздрогнули.

— Он? Не может быть, рано, — проговорил Калашников и бросился в коридор. Беневская видела, он держится за карман. Знала — в кармане финский нож.

Кто то вошел с черного хода. — Вот шаталомный, —услыхала Беневская голос и смех Назарова.

— Опоздал, чорт возьми, города не знаешь, извозчик дуралей попался, — говорил Моисеенко.

— Все в порядке, товарищ Моисеенко, — сказал Калашников.

Двойников тихо свистнул у окна. Все вздрогнули.

С противоположной стороны улицы, спрятав голову в воротник, согнувшись, быстро переходил Татаров. Двойников услыхал, в левом межреберье перевернулось, ударилось сердце, разливая теплоту.

Беневская подошла к зеркалу, быстрым женским движеньем поправила волосы. Оторвавшись от рукописи, Савинков прислушался к свисту, ждал звонка. «Сейчас должны звонить». Но звонка не раздавалось.

Назаров пристыл к стеклу во двор, походя на кошку:—прямо против окна стоял Татаров, о чем-то спрашивая дворника. Назаров не сообразил, Татаров мотнул дворнику и очень быстро пошел к калитке.

Замерев, ждали звонка. Назаров кошкой прыгнул с табуретки, бросившись в гостиную.

— Уходит! — закричал он. — Что ж вы рты то поразевали!

За ним бросились все, увидели — удалявшегося Татарова.

— Уууу, гад... — пробормотал Назаров.

Калашников стоял растерянно. Беневская странно смотрела на всех. Она была несчастна. На шум вошел Савинков.

— Ушел? — проговорил он. — Теперь всех провалит. Надо сейчас же бросать квартиру.

— А если догнать?

— Что ж ты, на улице?

— А что, и на улице место найдется.

— Брось, Федя, — раздраженно проговорил Савинков. — Сейчас же бросаем квартиру, он всех нас провалит.

12.

Ни на один звонок не отпиралась квартира Татарова. Николай Юрьевич вернулся бледен. Не скрывая состояния, еле дошел до постели, упал. Склонившейся в переполохе Авдотье Кирилловне, не выдержал, проговорил:

— Мама, меня убить хотят, не отпирай...

— Коля!

— Оставь меня, — отстраняя рукой, проговорил Татаров.

Зарыдав, вышла Авдотья Кирилловна, закрываясь закорузлыми неразгибающимися от старости пальцами.

Татаров лежал с закрытыми глазами. Борода неаккуратна, взлохмачена. Мысли бились чудовищно. Не поспевая одна за другой, сталкивались, причиняя невыносимую боль. Татарову хотелось бы не думать.

«Но что же сказал дворник? Что сняли муж и жена. Что пришел сперва молодой человек, хорошо одетый. Все это могло быть. Потом прошли двое, «как бы рабочие, в картузах». Все стало ясно. Савинков заманивал. Изящный Савинков, называющий «Николай Юрьевич», подающий руку, говорящий, умно, лю-

безно — был страшен. От него выступал пот, тяжелым молотом ударяли изнутри в голову. Казалось, слышится несущийся мимо шум. Будто сама жизнь несется мимо Николая Юрьевича Татарова. Чтоб освободиться, попробовал встать. Но голова закружилась и Татаров упал на локоть.

13.

Савинков и Назаров шли по Огродовой улице.

— Да ведь ты говоришь нужно?

— Нужно.

— Значит и убью.

— Чем?

— Ножом.

— На дому?

— А то где же?

— А если не уйдешь, Федя?

— Брось, если да если. Не хочешь посылать, сам ступай, только ведь, поди, не сумеешь, — засмеялся Назаров, обнажив крепкие, желтоватые, нечищенные зубы.

— Ладно, — проговорил Савинков, — Валяй. Но ножом трудно, не промахнись.

— Увижу, чем стругать буду, струмент весь со мной. Эх, ушел гад, а? Сколько народу революционного погубил. Сколько товарищей угробил. Ну да и от нас не уйдет.

— Ну прощай, Федя, — останавливаясь, сказал Савинков. Он торопился вслед за товарищами к московскому поезду.

— Прощай.

— Ах, да — спохватился, берясь за карман Савинков. Назаров обернулся. — Я ж тебе денег не дал.

— Каких?

— Да надо же денег.

— Есть у меня деньги. Не надо мне твоих денег, — зло отмахнулся Назаров.

6

— Да, возьми.

— Очумел ты с твоими деньгами, — находу пробормотал Назаров.

Савинков постоял, смотрел вслед, улыбаясь, пошел к извозчику.

14.

В Москве, в газете «Русское слово» Савинков читал телеграмму: — «22 марта на квартиру протоиерея Юрия Татарова явился неизвестный человек и убил сына Татарова. Спасаясь бегством, убийца тяжело ранил мать убитого ножом. До сих пор задержать убийцу не удалось».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

1.

Никогда не видали Ивана Николаевича таким веселым, как этой весной в Петербурге. Мозг Ивана Николаевича был математический. Расчеты сходились. Окупались деньгами. Он жил с Хеди. И все радовало.

П. И. Рачковскому отдал динамитные мастерские в Саперном и Свечном. Правда, отношения оборвались. Рачковский стал даже неаккуратен в выплате жалованья, не ответив на письма. Но Азеф и не волновался, поигрывая с левой руки.

Обнимая за талию, приходившего к Хеди, Павла Ивановича, Азеф рокотал:

— Боря, уютная обстановочка, а? Люблю, Боря, мещанство.

— Мещанство? А я не люблю мещанства.

— Где уж, ты у нас, англичанин.

Очень весел был Иван Николаевич.

2.

Но кабинет начальника петербургского охранного отделения, генерала А. В. Герасимова был интересен историку, психологу и вообще любителю тайн человеческих душ. Много занятного в кабинете генерала. Только в кабинет никто не входит. Даже подметает не сторож Исаич, в георгиевских крестах и медалях, а сам генерал Герасимов. Завтрак не вносят, а выходя, со стула берет генерал.

А. В. Герасимов плотен, высок, по военному прям. С заклиненной бородкой, усами кверху. Глаза? Глаза — серовато-стальные. Была и привычка: генерал дергал носом.

На Мойку, в охранное, генерал приезжал в штатском хорошем костюме. Когда, задумавшись, сидел за столом кабинета, походил на большую, белесоватую, но очень хитрую рыбу.

3.

Азеф в это утро встал рано. Вышел в прекрасном расположении духа, напевая «Два создания небес». Знал, что в Лионском кредите 60.000, что при всеобщей сумятице, охватившей догнивающую империю, можно поставить акты, от которых захватит дух всей Европе.

Но что за странность? Азеф шел по делу БО. На углу Гороховой и улицы Гоголя, как старый, матерый волк, спиной почувствовал сзади что-то волнующее. недоброе. Оборачиваться головой Азеф не умел. Шея была слишком коротка. Поэтому он быстро, словно отгрызаясь от удара, повернулся всем корпусом: — близко, по пятам шли два филера.

«Что за чорт?» Широко перешагнув через лужу, Азеф пошел улицей Гоголя. Филеры шли в двадцати шагах. Азеф шел быстрей. По делу надо было выйти на Невский. Но он свернул к Мойке. «Ерунда,

отвяжутся», пробормотал. Филеры шли по пятам. Азеф снова повернул к Невскому. На Невском у музыкального магазина «Юлий Генрих Циммерман» остановился, в витрину смотря на филеров. Филеры остановились у колбасной.

Азеф двинулся. Двинулись и они. Азеф видел ясно: — один рыжий, громадный, наверное из дворников. Другой — низкий, очень широкий в плечах, на кривосогнутых ногах. «Что за дьявол?» — бормотал Азеф, чувствуя, что покрывается потом, устает от ходьбы и волнения.

Обкладывая Рачковского ругательствами, он шел крупными шагами, торопливо раскачивая животастое тело на тонких ногах. Никто не поверил бы, что с такой легкостью может итти неуклюжий, громоздкий, уродливый коммерсант. Азеф знал — за углом лихачи. Только мельком взглянул на очередного, понял что вороной старик может дать еще ходу по Петербургу, и впрыгнув в пролетку, бормотнул: — «К Николаевскому вокзалу».

В тот же момент вынырнули филеры, заметались. Но вороной мастадонт, раскачивая старый костяк со стороны на сторону, уж размял опоенные ноги и мчал Азефа по Невскому. «Сволочь», пробормотал Азеф. Это относилось к Рачковскому.

4.

Ни на следующий, ни на третий день не мог вызвать Азеф действительного статского советника П. И. Рачковского. На лбу наливалась жила. Азеф любил ясность. Хеди заметила озабоченность, рассеянность. Он даже не мог быть ласков. Часто подходил к окну. Глаз был верен: — обложен филерами.

— Warum bist du so traurig? Warum denn, mein Schatz? — щекой гладкой, как хорошая лайка, пышнотелая Хеди прижалась к Азефу, крепко поцеловав в губы, именно так, как он любил.

— Ach, weiss du, ich bin bischen erkältet, ich weiss selber nicht, was mit mir los ist, ich fühle mich nicht wohl.

— Ach, du, Süsser — и снова Хеди поцеловала длительно впиваясь в мясистые губы, обвивая телом, как учил великий князь Кирилл.

— Weiss du, ich bleibe paar Tage im Bett. Das wird am besten sein und meine kleine Pipel wird за мной ухаживать.

— Mein armes Gänschen, mein Муши-Пуши, папашка, — зацеловывала его Хеди, уложила в постель. И отнесла письма Азефа на почту.

Хуже всего было, что Азеф ничего не понимал. Когда встал, сразу подошел к окну. На противоположной стороне никого не было. Он прошел в уборную. Дом был угловой. Филеров не стояло и здесь. Азеф понял: в департаменте была ошибка, теперь выяснилась. Напевая «шли по улицам Мадрида», пошел к Хеди и все утро прохохотали, продурачились, проласкались.

— Ach, Hänschen, ах папочка, du bist ungezogen! — хохотала ровными, как у зверя, зубами в яркой розовости губ Хеди.

— У тебя Хеди вместо души — хорошая касса, — смеялся Азеф.

В цилиндре, черном пальто обтягивающем уродливую фигуру, он вышел из дому выбритый, надушенный. Слежки не было. Возле ресторана «Ампир» на Невском, куда хотел войти, чтобы вызвать Савинкова, с двух сторон за руки схватили филеры и жандармы.

Вырываясь всей тушей мяса, вывороченными руками, налитый бешенной кровью, Азеф кричал:—Что значит?! Как вы смеете! Я инженер Черкасов!!

— Не сопротивляться! — гаркнул ротмистр с щеткой черных усов. И двое жандармов поволокли к пролетке.

Мельком с извозчика Азеф осмотрел собравшихся у тротуара. Знакомых, как будто, не было. Эту дорогу Азеф знал лучше жандармов. Везли на Мойку в

охранное, в тот самый дом, где умер Пушкин. Азеф знал и это. Но думал о том, что под цилиндром выступил пот и обтереться нельзя, жандармы держат за руки.

5.

Цилиндр лежал на деревянном, изрезанном ножами столе. Пальто висело на гвозде. Азеф в синем костюме, тушей, лежал на койке одиночной камеры. Захватывающее бешенство не проходило.

В четыре дня, на пороге появился генерал Герасимов, в штатском. Азеф не поднялся. Герасимов сел у стола и улыбнулся, чуть дернув носом.

— Я начальник охранного отделения генерал Герасимов, потрудитесь встать и назвать вашу фамилию, — сказал он. Слова падали каплями на жесть, без всякого выражения.

Азеф вскочил с койки с лицом перекошенным злобой. Глаза были отведены далеко в сторону, так что радужница исчезла, были только желтые белки и этот «белый огонек» перерезал лицо.

— Я инженер Черкасов! Живу на Фурштадтской! Требую немедленного объяснения, почему арестован!? И если вы сейчас же не освободите, буду жаловаться министру!

— Так-так-так, — пробарабанил по столу крепкими пальцами Герасимов, рассматривая Азефа.

— Потрудитесь отвечать, что это значит!? — наступая крикнул Азеф.

— Значит? — тихо проговорил Герасимов. Азеф увидал стальные щели глаз.—Вы инженер Евно Азеф, член партии социалистов-революционеров!

Бешенство сплыло с желтого лица Азефа.

— Что?! — проговорил он. — Какая чушь! и расхохотался на всю камеру. — Вы меня с кем-то путаете, генерал! Я Черкасов. Я отдал свой паспорт.

— Так-так-так, — прищуриваясь сказал генерал, подергивая носом, — однако же я буду вас держать, до тех пор, пока вы не станете несколько умнее.

— Вы бредите! Это безобразие!

— Ну вот что! — крикнул Герасимов, ударив по столу так, что прыгнула кружка. — Не очень то вы! Бросайте канитель! Потрудитесь отвечать на вопросы.

Азеф смотрел в стальные щели глаз Герасимова темными, черно-блещущими, выпуклыми маслинами, в них, в вывороченных губах Герасимов явно увидел хохот. Азеф хохотал гнусаво, закатисто, неприятно. Это был хохот над генералом Герасимовым.

— Вам отвечать я во всяком случае не буду, — резко прогнусавил Азеф. — А будьте-ка любезны прислать мне действительного статского советника Рачковского.

— Петра Ивановича? Вы дадите ему показания?

— Дам, — пробормотал Азеф, заходив по камере.

— Прекрасно, — усмехнулся Герасимов.

6.

В камере было темновато. Азеф резко обернулся на шум двери. Входили Герасимов и Рачковский.

— Что это значит, Петр Иванович!? В какое вы меня ставите положение!!? — закричал Азеф.

— Прежде всего не кричите, — протянул руку Рачковский, — никакого положения тут нет.

— Для вас! Не вы ходите под виселицей! — искажаясь, выпуская слюни на вывороченные губы, крикнул Азеф.

— Положим, к сожалению, и я.

— Вы виноваты! Вы не отвечали! Вы бросили меня! Вы дурацкой слежкой поставили чорт знает в какое положение перед революционерами!

— Да не волнуйтесь, Евгений Филиппович, все образуется, тут дела были почище наших с вами.

— Почище, — злобно пробормотал Азеф.

— Ну разумеется, — спокойно протянул Рачковский, — дел по горло, вот и не отвечал.

Герасимов глядел, смеясь, на Рачковского и Азефа.

— Из-за этой же моей занятости, сейчас сношения с вами будет вести, вот, Александр Васильевич, собственноручно, так сказать, — любезно-злобно засмеялся Рачковский. — Стало быть, Александр Васильевич, удостоверяю, арестованный является сотрудником, арест произведен очевидно по недоразумению,—улыбнулся злобно Герасимову Рачковский.—Надо вышколить людей, чтоб зря своих не подводили. А теперь что же мне тут, вы уж сами сговоритесь, не так ли? Одно скажу, чрезвычайно ценный сотрудник, — засмеялся хрипотцей Рачковский.

Герасимов молчал. Азефу показалось, нехорошее бежало по рыбьему лицу генерала.

— А вы, батенька, не сердитесь, старую дружбу не забывайте, — пожимал Рачковский руку Азефа. — Кипяток вы, Филиппович, и как это спокойный человек так может раскипятиться, нехорошо батенька, в нашей работе нервы первое дело.

Азеф пытался выпростать маленькую руку из жилистой мертвячей руки Рачковского. Тот, почему то засмеявшись, вышел.

— Прежде всего позвольте извиниться, что я принял вас за революционера, — садясь к столу, проговорил Герасимов. — Вполне понимаю ваше возмущение. Виноваты люди, чистая случайность. Надо надеяться, что в этом лучшем из миров все делается, быть может, к лучшему.

Азеф рассматривал генерала. Волновала пипка. Казалось, пипка в разговоре перепрыгивает с щеки на щеку.

— Так вот, работать с вами буду я. Принципы работы коротки: — мало слов, много дела. Освобожу, разумеется, вас сегодня. Дам адрес. Как-нибудь вечерком потолкуем. Только предупреждаю, — вдруг ударил ладонью в такт словам генерал: — вы вели

игру в две руки, не возражайте! — повысил он голос, — знаю! С этого часа на двойной игре ставьте крест. Поняли? Не допущу.

— Это ложь и интрига, — спокойно сказал Азеф, — никакой другой работы я не вел.

— Вели.

— Нет, не вел.

Герасимов смотрел на Азефа. Азеф смотрел на Герасимова. Прошла минута.

— Ладно, — улыбнувшись стальными щелями глаз, прервал Герасимов, — во всяком случае или служите только мне, или... — Герасимов чиркнул рукой по шее, как чиркал Азеф на приеме боевиков.

— Понятно? — сказал он, не сводя стальных щелей с мясистого лица Азефа.

Всеми силами Азеф скрывал волнение, скрыл бы, если б не выступивший пот.

— Это ложь. Я никогда на революционеров не работал.

— Евгений Филиппович, слово держу крепко. Ваши сведения, знаю, были всегда ценны. На оплату работы не поскуплюсь. Вы сколько получали последнее время?

— Очень мало. 500 рублей.

— Ну, положим не мало. Многие получают гораздо меньше. За отдельные дела получали наградные? Не правда ли? Денег больших в моем распоряжении нет. Но, ценя вас, набавлю до 800 в месяц.

— Мало, — глухо прохрипел Азеф. — Я ставлю голову, не за 800 же рублей.

Герасимов, улыбаясь, видел, что Азеф согласен.

— Ха-ха-ха! Да не втирайте вы очки! Ведь живете и жить будете на партийный счет, а он побольше нашего! Наши чистоганчиком пойдут в Лионский. За год, батенька, 10 тысяч одного жалованья. За три фабрику купите, завей горе веревочками! Ночью вас освободят, так удобней, — вставая, сказал Герасимов. — Вот адрес: — Пантелеймоновская 9, кв. 6, спросите папашу. Лучше к ночи.

Поверять буду другими сотрудниками. Хорошие дела, — хорошие деньги. Малейшая ложь — уж не обессудьте, придется. Ну всего хорошего, Евгений Филиппович! — и, по военному прямо, генерал Герасимов вышел из камеры.

7.

В черном пальто, в руках с цилиндром Азеф стоял в одиночке. Не меняя упершегося в пол взгляда, бормотал, ожидая освобождения.

Из темных ворот Охранного извозчик тронул хорошим ходом. Путь с Мойки на Стремянную, в квартиру Хеди, был длинен. Ночь поздняя. Летел таящий на тротуаре снег, от фонарей, света из окон, казавшийся желтым. Сырость стояла сплошная, тяжелая, в этом тумане столицы было не продохнуть. В липком ветре вилась слякоть, сжавшиеся люди в котелках, шляпах бежали походкой странных выдуманных силуэтов. И Азеф, ушедший в котелок и в поднятый воротник, на быстром извозчике, казался тушей без головы.

Так промчался он на Стремянную. Извозчик, резко осаживая лошадь, пролетел дом Хеди. Лошадь поскользнулась у тротуара и упала скользко раскатившись ногами, затрещав по камням подковами.

— Уууу, чорт, — пробормотал Азеф, выпрыгивая из пролетки. Он не додумывал, почему было неприятно падение лошади. Да она уж и вскочила, встряхивая спиной и вытягиваясь, кашляя. Азеф взглянул: — окно в красноватом свете. Он тяжело стал подыматься. Но вдруг, на втором повороте почувствовал слабость, сердцебиение и остановился, переводя дыхание.

Хеди, поджав ноги, в теплом халате и мягких туфлях, читала на диване «Викторию» Гамсуна. В сильных местах не могла читать, а опускала книгу, шепча — «ви зюсс!» Три звонка застали ее в таком состоянии. Хеди стремительно бросилась к двери.

— Hänschen! Papachen! Um Gottes Willen! — кричала она, обнимая еще не успевшего снять цилиндр и отдышаться Азефа.

— Lass doch, lass, — вдруг проговорил Азеф.— Он сам не ожидал, что так встретит Хеди. Сел на стул. Острая режущая боль разрезала почки. Он схватился за поясницу.

— Um Gottes Willen! Papachen! Sag' um Gottes Willen! Was ist los mit dir? O, mein Gott!

Морщась от боли, Азеф постарался улыбнуться.

— Sei nicht böse, Muschi, Papachen ist bischen nervös, Papachen hatte schlechte Geschäfte — растягивая толстые губы, улыбался Азеф. Встав, он крепко поцеловал ее.

8.

Конспиративная квартира на Пантелеймоновской меблирована была отлично. Генерал любил красное, александровское дерево. Выдержал обстановку в стиле.

Азефу в темноте растворил темный мужчина.

— Папаша дома?

— Дома. — Азеф узнал по голосу и фигуре разоблаченного провокатора социал-демократов «Николая, золотые очки».

— Милости прошу, Евгений Филиппович, — улыбался генерал, словно дружили они двенадцать с половиной лет. Азеф ответил точно также:

— Я вас, Александр Васильевич, еле разыскал.

Герасимов в серых верблюжьих туфлях, в бархатной куртке с бранденбурами. От вида веяло уютом.

— Идемте, голубчик, — говорил он, ведя Азефа анфиладой комнат. Одна была заставлена клетками — на стенах, столах, на полу.

— Что у вас это такое? — бормотнул Азеф.

— Птицы, — проговорил генерал. — Вы не любите птиц?

— Птиц? — промычал Азеф, коротко рассмеявшись.

— У меня с реального училища страсть, я в харьковском реальном был, к канарейкам. Отдыхаю. Только время то нет, — сказал генерал Герасимов, вводя в просторный кабинет, с низкими креслами и портретами императоров в золотых тяжелых рамах.

— И фотографией не интересуетесь? — спросил, подкатывая Азефу кресло.

— Нет, — рокотнул Азеф.

— А я и фотографией. Снимаю. Садитесь, Евгений Филиппович, располагайтесь удобней, вот тут, голубчик.

Кресла, деланные по рисунку генерала, были великолепны, успокаивающи. Утонув в их сафьяне, Азеф распустил по ковру ноги, пророкотав:

— Хорошая квартирка у вас, Александр Васильевич.

— Ничего, — роясь на столе ответил Герасимов. — А вот моя работа, увеличиваю. Незнакомы? — и он смеясь кинул фотографию.

Азеф рассматривал портрет Савинкова 13×18.

— А этот поясной портрет не видали? — кинул генерал смеющегося Чернова с альбомом в руке.—Видите, сразу знакомыми угостил, — смеялся Герасимов, сев в кресле, пододвигая меж ними курительный прибор. Азеф закурил предложенную папиросу.

— Ну скажу прямо, Евгений Филиппович, задали вы мне перцу! Сгоряча то вам наобещал в охранном горы, а сунулся к нашим высокопревосходительствам, те на меня и руками и ногами. С ума говорит сошли, это же чуть не министерское жалованье! Но только со мной ведь разговоры то коротки. Пришлось вопрос ребрышком поставить: — или с вами работаю, или вовсе нет.

Азеф исподлобья разглядывал генерала, видя ясно пипку на правой щеке.

— Они, наши то высокопревосходительства обладают ведь, простите за выражение, бараньими мозга-

ми. Зато знают твердо, что без генерала Герасимова станут вмиг «знаменитостями революции»! ха-ха-ха! без пересадки отправятся в лучший из миров! Ну так вот на ваше вознаграждение то согласились под конец, но конечно с большими ламентациями. Нелегко было.

— Александр Васильевич, — рокотал Азеф, щурясь в голубом дыму папиросы, — что вы от меня хотите?

— Прежде всего, Евгений Филиппович — познакомиться, — улыбнулся генерал, ловя Азефа стальными щелями — это первое, здесь мы одни, говорить можем по душе, а для дела, знаете, сойтись с человеком первое. Скажу вам прямо: генерал Герасимов не невероятный болван, вроде Ратаева, и не прожженный мерзавец вроде вашего прежнего шефа, глубокоуважаемого Петра Ивановича Рачковского. Запомните, пригодится. Впрочем, сами увидите, откровенность и человеческие отношения у меня в принципе. Чуть ли даже не Марк Аврелий сказал — «В прямоте красота»? Так вот-с! Работать со мной просто. И от вас требуются сущие пустяки. Первое — ка-те-го-ри-че-ски — поднял палец Герасимов, — запрещаю вникать в другие сферы партийной работы, кроме боевой! Краеугольный камень. Даже мне не обязаны сообщать о небоевой работе партии. Поняли?

— Почему? — рокотнул Азеф.

— Это, батенька, без вас освещается. Да и не интересует. Моя с вами работа боевая, исключительно. Ведь и вам же удобнее, чего ж упираетесь то, а?

— Как хотите, — отвернувшись от глаз Герасимова, сказал Азеф.

— Так вот и хочу. Второе — вот что. Знаю ведь то я вас с самой лучшей стороны. Прямо скажу, считаю человеком большого ума, громадной воли, а главное, Евгений Филиппович, удивительнейшим организатором! Если б в партии то у вас, таких как вы было, скажем, человек десять, может нам всем давно бы и шею свернули. Но мелковато-с, мелковато-с ха-ха-ха

— больше так, телячьи восторги, да брыки. Так вот-с. И о себе скажу мнения неплохого, считаю и себя не бездарностью, кроме того точка приложения сил есть. А это, знаете, всегда важно. Если пойдем рука об руку, Евгений Филиппович, кто знает, может и оставим имена в русской истории.

— Малоинтересно, — липкими лопухами губ ухмыльнулся Азеф.

— Как сказать. Неужто ж так и нет никакого тщеславия? Что вы, голубчик, слабы все мы в этом местечке то!

Азефу надоело выщупывание. Он проговорил.

— Ну, а конкретно, что ж вы хотите?

— Конкретно, Евгений Филиппович, следующее: — с сегодняшнего дня буду абсолютно в курсе планов боевой. Наиабсолютнейше! Но не волнуйтесь, лубка не выйдет. Знаю, что у вас уже есть карьера в партии, при моей помощи продвинетесь еще дальше. Ни ареста без вашего согласия не произведу. Кто нужен вам, пальцем не трону, знаю, что у вас там чертово кумовство, хуже чем у нас в департаменте. Друг ваш, например, Чернов может спокойно гулять и болтать, сколько хочет. Не трону. Савинкова тоже. Но тех, кого можно взять без убытка, возьму и повешу. С удовольствием даже, Евгений Филиппович. Вот так то мы с вами революцию то и вылущим. Кого купим, кого повесим. Не по глупому, а по умному.

— С моей стороны будут следующие условия, — словно не слушая генерала, сказал Азеф, — чтоб никто из охранного ничего не знал обо мне, чтобы провала не было. И чтобы аресты боевиков, которых укажу, производились бы до момента покушения, чтоб меньше виселиц было.

— Первое подтверждаю. Второе, уж деталь. Но сам скажу, я против излишней крови и даже здесь с вами согласен, хотя раз на раз, конечно, не придется.

— А теперь, видите ли, Александр Васильевич, — улыбался Азеф конфузной улыбкой, не глядя на Герасимова, — вы выдвигаете меня, хорошо, но ведь и

вы этим выдвигаетесь? Стало быть и я делаю вам карьеру.

— Разумеется.

— За это надо платить. Вы монополию берете на мои сведения. Меня подставляете под верную опасность.

— То есть почему же?

— Сами же говорите, что вылущивать.

— Ах, та-та-та! Вот куда махнули те-те-те! — засмеялся Герасимов. — Да это же вы наверное насчет удачных покушений, что ли? А? Ээээ, батенька, куда хватили ха-ха-ха! Рад, что заранее сделал вам много комплиментов. Рад. Эдак вы меня без пересадки чего доброго революционером сделаете, а? Ха-ха-ха. Говорили кстати мне, я, конечно, не верю, будто, вы, Евгений Филиппович, в Варшаве с Петром Ивановичем встречались, приблизительно так, перед,— щели Герасимова щурились на Азефе, выщупывая, — перед смертью Вячеслава Константиновича.

— За кого вы меня принимаете? — нахмуренно проговорил Азеф. — Я Рачковского в Варшаве в глаза не видал, был заграницей, может подтвердить Ратаев, все глупая болтовня.

— Конечно, конечно. Евгений Филиппович, я же пошутил, язык у людей без костей, чего не болтает. Хотя, конечно, розыск настолько деликатная вещь, что если будет вести его человек плохих нравственных устоев, он эту тоненькую линию всегда перейдет, понимаете? А скажите, à propos, боевая то ведь готовит что то по моим сведениям, а? Кто «у вас», так сказать, «из нас» на очереди?

— Конкретного нет,—нехотя, проговорил Азеф— толкуют о Дубасове.

— О Дубасове, — медленно, раздумчиво проговорил Герасимов, — боюсь я все, не забыли ли условий, Евгений Филиппович?

Азеф глянул на Герасимова: — он чиркал пальцем по воротнику.

— Повторяю, Александр Васильевич, что это ложь! — пробормотал Азеф. — С таким запугиваньем не стану работать, я не мальчик. Если хотите ссориться, давайте ссориться.

— Ну-ну, шучу, не распаляйтесь, не распаляйтесь.

— А если согласен на ваши условия, то соловья тоже баснями не кормят, — бормотал Азеф. — Вы любите откровенность, я говорю, мне нужны деньги.

— Какие, Евгений Филиппович?

— Меньше чем две тысячи не обойдусь.

— Много. На дело иль лично?

— На дело.

— Максимум тысяча.

— Завтра еду в Финляндию, ставлю мастерские.

— Какие мастерские?

— Динамитные.

— Сколько?

— Две.

— И денег?

— Говорю: две тысячи.

— Нет, батюшка, дорогонько. Одну то уж на партийный счет ставьте, на одну так и быть, — засмеялся Герасимов, встав и отпирая стол заманчивыми звонами.

— Меньше полутора не обойдусь,—рокотал Азеф, — если хотите, зачтите в жалованье.

— Ох, и несговорчивый человек! Ну уж только для первоначалу, так и знайте, больше чтоб нажима не было. А главное, ничего не забывайте, — повернулся генерал, держа бумажки с изображением Петра Великого.

— Ко вторнику можете?

Герасимов сложил расписку. Запер в стол. И ведя Азефа комнатами, находу говорил:

— Попыхтели мы с вами! Ни с кем ей богу так не возился, зато думаю не зря. Только не втемяшивайте вы себе в голову, что я дурак, все дело, батенька, погубите.

От толщины Азеф хрипел, надевая пальто.

— Если телеграммой — на охранное, донесения сюда. Если что, вечерком заворачивайте по семейному. Дома нет, справьтесь в «Медведе» у швейцара, спросите кабинет Ивана Васильевича.

И совсем уж на пороге сжимая руку Азефа, Герасимов проговорил: — В прошлую то пятницу на северо-донецких, да мальцевских играли. На бирже то? Своими глазами видел. Там то вы мне и понравились. Сразу решил, что дела можно делать. Ну и скрытный же, ай-ай-ай, с вами надо осторожней, а то чего доброго взорвете на воздух, — и Герасимов, обнимая Азефа, похлопал его по задней части, убедиться нет ли револьвера.

— Из Финляндии то черкните.

— Хорошо, — бормотнул, выходя, Азеф.

Азеф крепился у генерала Герасимова. Выйдя на улицу, почувствовал нервный упадок, слабость. Он понимал, что расчет смят.

9.

Савинков с братьями Вноровскими и Шиллеровым ставил в Москве покушение на генерала Дубасова. В крошечном, охряном домике, зажатом в зелени сосен, Азеф жил в Гельсингфорсе. Дом был уютен. Воздух резок, ароматен. Но Азеф волновался. Мерещилась генеральская пипка, веревка, чорт знает что.

Савинков подъезжал на финке, семенившей мохнатыми копытцами по серебряному, снежному насту.

— Ждал тебя, ждал, — рокотал Азеф, крепко обняв, поцеловал Савинкова.

Азеф провел в небольшую, солнечную комнату. За окнами: — сосны, снег, сад.

Савинков мыл руки, Азеф, приготовляя чай, спросил:

— Кто убил Татарова, Двойникова?

— Федя, — вытирая руки, сказал Савинков.

— Так, а я думал Двойников. Как в Москве?

Солнце залило Савинкова. Азеф наливал чай, подставлял лимон, хлеб.

— Я тут по холостяцки, плохо живу.

— В Москве, не понимаю причин, но скверно, Иван. Регулярного выезда не можем установить, измотались, истрепались. Приехал советоваться с тобой, по моему покушение может выйти только случайное.

— Ерунда, — нахмурился Азеф, голова ушла в плечи. — Стало быть плохо наблюдают, если не могут установить. А случайное покушение ерунда, я не могу рисковать людьми ради твоих импрессий!

— Импрессий! Ты не ведешь и не знаешь. Выезды стали настолько нерегулярны, обставлены такой конспиративностью, словно он знает, что мы здесь. А при случайном выезде успех может быть. Надо взять кого-нибудь из мастерской, пусть приготовит снаряды, будем ждать его возвращения из Петербурга.

Азеф пыхтел, грудь подымалась от тяжелого дыханья. Он повернул тело в кресле, в тон скрипу пробормотал:

— Вообще у нас теперь ничего не выйдет, я в этом уверен.

— Почему?

Азеф каменный, мрачный, сморщился, махнул рукой:

— Я не могу больше работать, я устал. Убежден, ничего не выйдет. Папиросники, извозчики, наружное наблюдение, старая канитель, ерунда! Все это знают. Я решил уйти от работы, пойми, со времени Гершуни все в терроре, имею же я право на отдых, я не могу больше. Ты и один справишься.

— Если ты устал, то конечно твое право уйти, но без тебя я работать не буду.

Азеф посмотрел ему в лицо.

— Почему?

— Потому, что ни я, ни кто другой не чувствуем себя в силах взять ответственность за руководство

центральным террором. Ты назначен ЦК. Без тебя не согласятся работать товарищи.

Азеф молчал. Савинков говорил убежденно, красноречиво, доказывая, что отказ Азефа — гибель террора, а стало быть партии. Азеф изредка, подымая бычачью голову на короткой шее, взглядывал. Когда он кончил, Азеф сидел молча, сопя.

— Хорошо, — проговорил наконец, роняя слова, — будь по твоему, но мое мнение, ничего у нас не выйдет. Если хочешь бросить регулярное наблюдение и расчитывать на случайную поездку Дубасова — хорошо, поезжай, возьми из мастерской Валентину, она поедет с тобой, приготовит бомбы. Только по моему это нерационально, дробится организация. Во всяком случае прежде всего извести меня телеграммой. Я приеду сам, все проверю.

10.

В тот же вечер Савинков ехал из Гельсингфорса в Териоки. На даче, у взморья стояла динамитная мастерская.

Продремав ночь на станции за чашкой кофе, Савинков с рассветом тронулся к взморью. По снежной дороге нес вейка. Раскатывались санки на крутых поворотах. Ни впереди, ни сзади — ни души. Лес, снег, небо. Да пробегающие лыжники. Финн знал путь. Быстро с лесистой дороги свернул на малокатанную снежную полосу. У дачи с подстриженным, заснеженным садом остановился.

Савинков шел узкой тропой, которую вытоптали здесь жильцы. Было тихо. В саду стучал дятел. Звенели в струнном ветре сосны. Под ногой заскрипели ступени лесенки. Коротким стуком Савинков постучал в стеклянную дверь. Навстречу вышла женщина, похожая на монашку. Лицо было желтовато, измождено. Темные глаза ушли вглубь. Движенья

были спокойны. Смотря на Савинкова, террористка Саша Севастьянова проговорила:

— Проходите, все дома.

В просторной, светлой столовой Савинков застал хозяина дачи Льва Зильберберга.

— Вот неожиданно! А мы тут как затворники! Вот радость! — говорил изящный, хрупкий Зильберберг.

На голоса вышли Рашель Лурье, худая, резкая брюнетка, лет 20-ти и смеющаяся Валентина Попова. Но по губам, полноватой фигуре Савинкову Попова показалась беременной.

Обступив Павла Ивановича здоровались, смеялись. Как молодо! Какие голоса! Как бодро! Какой смех! Саша Севастьянова, работающая за прислугу, накидывала на стол скатерть, суетилась, готовя закуску, ставя самовар с холоду приехавшему гостю.

— Как же живем, а? — похлопывал Зильберберга Савинков.

— Да готовим, — смеялся Зильберберг, — вы вот расскажите, что на воле делается? Мы тут месяц ни газет, ничего не видали. Может там уж и царя то у нас нет, свергли? — засмеялся Зильберберг.

— Нет покуда сидит еще, сидит. Вот покажите-ка полностью мастерскую, тогда и решим, долго ли еще сидеть будет, — и Савинков с Зильбербергом вышли из столовой, где молчаливой монашенкой хлопотала Саша Севастьянова.

Дача была в девять комнат с отдельной кухней. Наверху три летних. Низ же оборудован по зимнему. Богатая дача, с мебелью карельской березы, картинами, креслами. До того хороша, что многих боевиков даже стесняла.

— Здесь вот барин живет, то есть значит я.

— Здесь вот — барыня, то есть Рашель.

— А вот это и есть мастерская, не бог весть что, но работать можно,—ввел Зильберберг Савинкова в

просторную квадратную комнату, почти без мебели, с туго спущенными белыми шторами.

Савинков ощутил знакомый запах горького миндаля, от которого всегда болела голова. На двух столах стояли спиртовки, примусы, лежали медные молотки, напильники, ножницы для жести, пипетки, стеклянные трубки, наждачная бумага, в флаконах, аккуратно как в аптеке, была серная кислота. В углу — запасы динамита. И рядом, внутри выложенные парафиновой бумагой, в виде конфетных коробок, консервных банок — оболочки снарядов.

Горький миндаль напомнил номер Доры в «Славянском базаре», Каляева, зимний день, смерть Сергея, радость убийства и тоску. Савинков знал, Каляев повешен, Дора сошла с ума в каземате Петропавловской крепости.

— А у вас не болит от него голова? — спросил, указывая на динамит.

— Привычка. Вот у Валентины сильные боли.

— У меня тоже, — говорил Савинков, думая о Доре, о ночи, когда пришел к ней, и о том, что, как говорят, сошла она с ума, прося дать ей яду, изнасилованная жандармами.

— А где ваша жена? — выходя из задумчивости спросил Савинков.

— Жена? — переспросил Зильберберг. — Она заграницей, у меня даже двухмесячный ребенок, пишут уже улыбается, не видал еще.

— Да? — процедил Савинков. Они входили в комнату, похожую на гостиную; кроме желтой мебели, посредине стояла кровать, покрытая байковым одеялом. Навстречу им шли Попова и Рашель Лурье. Попова весело кричала:

— Павел Иванович! пожалте обедать! Только привыкли ведь к изысканностям. А у нас по-простецки. Саша даже стесняется, ей богу.

— Валентина, — сердито проговорила Саша и сама засмеялась.

За стол, покрытый клеенкой, садились шумно. Савинков помолодел, он почти студент, бегающий маляром за Невскую.

Саша несла сковороду шипящей глазуньи.

— Извините, товарищи, что то сегодня неудачно, кажется.

Попова подставляла деревянные подставки.

— Какой неудачно! Дело не в удаче, а в количестве, товарищ Севастьянова. Голоден, как волк А вот винца бы? Нет у вас? В вашей работе не надобится? Жаль. А мы развратились, привыкли заливать трапезу, — смеясь говорил Савинков.

Все смеялись. Ели яичницу, картофель, пережаренное Сашей в волнении, мясо. А после обеда, обняв за плечи Валентину, смотря в ее смеющееся лицо с раскрытыми губами, в которых белели мелкие зубы, Савинков говорил:

— Товарищ Валентина, я ведь вас увезу. Хотите?

— На дело?

— Ну конечно. А то на что же? — Савинков кратко рассказал о их плане.

— Согласны?

— О чем спрашиваете? Зачем же я здесь?

— Только один вопрос. Вы не беременны?

Краска залила щеки, лоб, словно выступила даже сквозь брови.

— Это вас не касается, это мое дело.

— Напрасно думаете. Меня касается. И как человека и как революционера. Во первых, в случае вашей гибели, вы убьете живого ребенка. Кроме того можете ослабеть, не совладеть. Ведь придется трудно.

— За себя я ручаюсь.

— Нет, поскольку вы подтверждаете, я на себя взять не могу. Изменить тоже не могу, дело Ивана Николаевича. Приеду завтра. Но говорю прямо, не обижайтесь, буду настаивать, чтобы вместо вас ехал кто-либо другой.

— Если Иван Николаевич назначил меня, я поеду. Вы не имеете права,—вспыльчиво проговорила Вален-

тина. — Вы обижаете меня, как члена БО. Я говорю, что способна на работу.

— Я не могу, Валентина, не будемте говорить.

В своей комнате, сдержанная, строгая плакала Рашель Лурье. Назначение должно было принадлежать ей, Павел Иванович вызвал Попову.

11.

Азеф собирался к генералу Герасимову, когда внезапно вошел Савинков. По ушедшей в плечи голове, наморщившемуся лбу и затуманившимся глазам, Савинков понял, что Азеф не в духе.

— Почему ты приехал?—отрывисто спросил Азеф. — Постой, не ходи ко мне, у меня женщина. Пойдем сюда.

Они вошли в кухню. Опершись о стол, Азеф слушал Савинкова.

— Какой вздор! — пробормотал он. — Нам нет никакого дела, беременна Валентина или нет. Я не могу производить медицинских освидетельствований. Раз она приняла на себя ответственность, мы должны верить ей.

— Я отвечаю за все дело. Мне важна каждая деталь, я не могу расчитывать на успех, если сомневаюсь в Валентине.

— Я знаю Валентину, она все выполнит.

— Я повторяю, беременную женщину в дело не возьму.

Азеф захохотал. Кончив хохотать, проговорил:

— Бери Валентину и поезжай сейчас же в Москву. Менять поздно. Сантименты прибереги для других.

— Это слишком по генеральски, Иван! — вскрикнул Савинков. — Вот тебе последний сказ: — или я выхожу из организации, или вместо Валентины едет Рашель.

Азеф остановился в дверях. Смотрел насмешливо, был похож на большую гориллу.

— Сегодня же езжай в Москву. Понял? — проговорил он и, не прощаясь, вышел.

12.

Подавитель московского восстания генерал-адъютант Дубасов внешне напоминал борзую собаку. Без бороды, длинное, узкое лицо с легкими бачками, жидкими усами. Дубасов знал, что готовится покушение. Больше того, по ночам была уверенность в смерти. А когда охранное сообщило, что террористы в Москве и генерал должен ездить только маршрутом указываемым охранным, генералу показалось, что он убит.

— Что вы, граф, ну что там сделает охранное? — говорил Дубасов адъютанту, графу Коновницыну. — Молодо-зелено, батюшка. Кто нас с вами охранит от тысячи бешеных террористических собак? Евстратка Медников? Да разве спасет неграмотный Евстратка, который купил себе под Москвой именье и вместе с бабой коров доит. Да и нравов вы их не знаете. Петербургской охраной кто ворочает? Шурка Герасимов, я его по чугуевскому училищу знаю. Он ни в бога, ни в чорта не верует. А в руках его жизнь всякого. Хочет казнит, хочет милует. Вот как, графчик, дело то обстоит, так то вот! — засмеялся Дубасов. И от смеха генерала Дубасова, адъютанта, графа Коновницына охватило волнение.

13.

Восемь раз, в голубой форме сумского гусара с коробкой конфет выходил Борис Вноровский навстречу коляске генерала Дубасова. Вороная голова Вноровского поседела. Но коляска Дубасова ускользала. Савинков, Вноровские, Шиллеров и Валентина Попова — обессилели. И тогда в Москву, убивать генерала Дубасова, приехал из Финляндии Азеф.

Он назначил убийство на день именин императрицы Александры. Чтоб, когда по случаю тезоименитства грянут оркестры, в весеннем солнце блестя бастромбонами, корнетами, литаврами, тронется отчетливая пехота и, расходясь плавным тротом, завальсируют кони под кавалеристами, тогда в разгар парада метальщики замкнут пути из Кремля и генерал Дубасов в весенний день поедет на бомбу.

Поседевший, еще более красивый, Борис Вноровский одел форму лейтенанта флота. Азеф передал восьмифунтовый снаряд, чтоб замкнул Вноровский Тверскую от Никольских ворот.

Одетому, человеком в шляпе, с портфелем, Шиллерову Азеф дал снаряд, чтоб замкнул Боровицкие ворота. А на третий путь по Воздвиженке стал, одетый простолюдином, Владимир Вноровский, дожидаясь чтоб Азеф привез снаряд.

Летящие в весеннем воздухе звуки медных маршей и крики ура наполняли Москву. Вноровский волновался. Не понимал, как можно быть неаккуратным. Сжимал покрывавшиеся потом руки. Крутясь, высматривая в толпе, Вноровский казался даже подозрительным. Но вдруг толпа отшатнулась. Вынырнул взвод приморских драгун в канареечных бескозырках. Плавно ехала коляска генерала Дубасова в двух шагах от Вноровского. Генерал поднял к козырьку руку. Адъютант к кому то обернулся, улыбаясь. Но уже несся замыкающий взвод драгун. И только тут Вноровский, недалеко, на извозчике увидал полного, безобразного человека в черном пальто и цилиндре, с папиросой в зубах. Извозчик Ивана Николаевича скрылся. Но раздался глухой, подземный гул...

Это, увидав выехавшую из Чернышевского переулка на Тверскую площадь коляску Дубасова, уже готовую скрыться в воротах дворца, бросился наперерез ей седой лейтенант, швырнув под рессоры коробку конфет.

Тяжело дыша, не разбирая, сколько он сунул извозчику, Азеф в кафе Филиппова на Тверской в изнеможении, испуге и усталости опустился у столика.

Вокруг кричали, сновали люди — «Генерал-губернатор! Убит! Дубасов!»

На торцах площади у дворца, возле убитых рысаков валялся, разорванный в куски, адъютант граф Коновницын. Поодаль, с седой головой, странно раскинул руки окровавленный труп молодого лейтенанта.

Раненого генерала Дубасова вели под руки в покои дворца.

14.

В полчаса девятого генерал Герасимов ждал Азефа. Генерал ходил по паркетной зале, был в военном. Шпоры звенели отрывисто, доносясь во все шесть комнат. Судя по заложенным за спину рукам и слишком быстрому звону шпор, генерал был взволнован.

Когда в передней раздался звонок, генерал полузлобно протянул — «аааааа».

— Я запоздал, — глухо говорил Азеф, отряхивая капли дождя с цилиндра.

— Я вас жду полчаса.

Азеф кряхтя снял пальто, кряхтя повесил на вешалку, потирая руки и лицо пошел за Герасимовым. С виду он был спокоен. Генерал напротив шел, очевидно готовя фразы и слова.

— Потрудитесь сказать, где вы были во время покушения, Евгений Филиппович? — проговорил Герасимов, когда меж их креслами стал курительный прибор.

— В Москве, — доставая из кармана спички, сказал Азеф. — Даже был арестован в кофейне Филиппова, что не особенно остроумно. Я выехал, чтоб захватить дело.

— И не ус-пе-ли? — расхохотался злобно Герасимов. — Дубасов спасся чудом! Коновницын убит на глазах всей охраны! Вы понимаете или нет, что мне скажут в министерстве?!

— Ну, знаю, — лениво проговорил Азеф, — но что вы от меня хотите, я не бог, я не давал вам слова,

что революционеры никого никогда не убьют, это неизбежно...

— Не финтить! — в бешенстве закричал Герасимов. — Забываете?

Дым заволакивал лицо Азефа, оно становилось каменным. Пипка была на правой щеке генерала.

Герасимов замолчал, стараясь подавить бешенство.

— Евгений Филиппович, — проговорил тихо, — в нашей работе все построено на доверии. Сегодня в департаменте Рачковский заявил, что московское дело — ваше. Скажите прямо: — у вас были данные, что покушение назначено на время парада? — серостальные щели не выпускали маслин Азефа.

— Либо вы мне верите, либо нет, — лениво сказал Азеф. — Я хотел захватить все дело, Дубасов сам виноват. Я указал маршрут, сказал, чтоб из предосторожности выезжали на Тверскую из Брюсовского, а они выехали из Чернышевского.

Герасимов похрустывал пальцами, смотря в пол.

— Кто ставил дело?

— Не знаю.

— А я знаю, что Савинков!—закричал Герасимов.

— Возможно, — пожал плечами Азеф, — в ближайшие дни узнаю.

— Я уверен. Но понимаете вы, что получается, или нет? Вы просили не брать Савинкова, потому что он нужен. Я не брал. А теперь? Мы ведем сложнейшую канитель, а Савинков на глазах всей Москвы убивает? Так мы ни черта не вылущим, кроме как самих себя! Рачковский, будьте покойны, намекнет кому надо.

— Это будет сознательная ложь с его стороны. Но если вы этому верите, то арестуйте меня.

Азеф стряхнул пепел в никкелевую пепельницу на приборе.

В комнате наступила большая пауза.

— В Москве я узнал, что в Петербурге хотят готовить на Дурново, повели наблюдение трое извозчиков.

Герасимов подошел к письменному столу.

— Один живет на Лиговке, улицу не знаю, брюнет еврей, но мало типичен, выезжает на угол Гороховой в три часа. Другой газетчик, лохматый, русский, в рваном подпоясанном веревкой тряпье, почти как нищий, у Царскосельского вокзала. Дурново не должен ездить в карете, пусть идет пешком. И в пути принимает меры предосторожности, не то будет плохо.

Азеф сидел спокойно, заложив ногу за ногу, виден был розовый носок. Ботинок острый, лакированный на высоком каблуке.

— Есть еще?

— Послезавтра дам точные данные, сможете взять.

Взволнованность Герасимова, как будто, прошла. Он знал, что сказать в министерстве, сложив блокнотик, вставил карандаш.

— Вы ручаетесь, что с Дурново не повторится дубасовская история?

— Будем надеяться, — пожал плечом Азеф. — Но вдруг увидал, что генерал улыбается и пипка заметалась.

— У меня есть терпение, но не столько, как вы думаете. И ума больше, чем кажется. В данном случае мои условия коротки: всех боевиков на Дурново сдать. Если хоть одно покушение будет удачно и ваша роль также неясна, как в Дубасове, не пожалею. Дубасова запишем а конто революции. Больше таких не будет, ни одного. Савинкову гулять довольно. Не допущу, чтоб шлялся по России и убивал, кого ему нравится. Не позднее этого месяца возьму. Ваше дело обставить шито крыто.

— Хорошо, — проговорил Азеф, — только его брать надо не здесь.

— Отошлите. Говорили, что хотели ставить на Чухнина? Вот и пошлите. Мы отсюда отправим людей.

Азефу показалось, генерал выбивает из под него табуретку, он виснет в петле.

— Подумаю, — проговорил он, — только не понимаю вашего отношения. Запугиванье. Я не мальчик. Не хотите, не буду работать, я же вам обещал...

— Эээ, батенька, обещаньями дураков кормят.

Азеф вынул платок, отер лоб.

— Так работать нельзя, — бормотал он, — нужно доверие.

У него было тяжелое дыханье. Ожиренье.

— Я не получил еще за прошлый месяц, — глухо сказал Азеф.

— Дорогоньки, Евгений Филиппович.

С Невы дул ветер. Из мокрой темноты летели хлесткие капли. На тротуаре Азеф огляделся. В направлении Летнего сада стлалась темная даль Петербурга. По Фонтанке он прошел к Французской набережной. На Неве разноцветными огнями блестели баржи. Открыв зонт, Азеф шел к Троицкому мосту.

15.

Волнуясь в табачном дыму, говорили боевики в заседании в охряном домике Азефа, перед созывом Государственной Думы. Комната прокурена. На столе бутылки пива. Облокотившись локтями, тяжело сидел уродливым изваянием Азеф. Абрам Гоц развивал план взрыва дома министра внутренних дел Дурново. Он походил на брата, но был моложе и крепче. В лице, движениях был ум, энергия. Чувствуя оппозицию плану, он горячился.

— Если не можем убить Дурново на улице, если наши методы наблюдения устарели, а Дурново принял удесятиренную охрану, надо итти ва банк. Ворваться к Дурново в динамитных панцырях!

— Иван Николаевич, ты как? — сказал Савинков.

Азеф медленно уронил слова:

— Что ж план хорош, я согласен. Только в открытых нападениях руководитель должен итти впереди. Я соглашаюсь, если пойду первым.

Родилось внезапное возбуждение.

— Не понимаю, Иван! — кричал Савинков, размахивая папиросой. — Какой бы план не был, мы не можем рисковать главой организации!

— Невозможно же, Иван Николаевич!!

— Я должен итти. И я пойду, — пробормотал Азеф.

В дыму, в криках, в запахе пива поняли все, что воля главы БО не ломается, как солома. А когда разбитые бесплодностью заседания, боевики выходили, Азеф задержал Савинкова.

— Надо поговорить, — пророкотал он и сам пошел выпустить остальных товарищей из охряного домика.

16.

Оставшись, Савинков растворил окно: — чернели силуэты деревьев. Комната вместо дыма, стала наполняться смолистым запахом сосен.

Азеф вернулся ласковый. Он лег на диван. Савинков стоял у окна. Так прошла минута.

— Какая чудная ночь, — проговорил, высовываясь Савинков. И в саду голос был слышнее, чем в комнате.

Азеф подойдя, обнял его, вместе вытянулся в окно.

— Ну ладно, брось лирику, — пророкотал он.

Окно закрылось, занавесилась штора.

— Устал я очень, Борис, — сказал Азеф, — жду возможности сложить с себя все, больше не могу.

— А я не устал? Все мы устали.

— Ты другое. На тебе нет ответственности, — зевнул Азеф, протер глаза и потянулся. — Но как бы то ни было, до сессии Думы надо поставить хоть два акта, иначе чепуха. Жаль, что Дурново не дается, не понимаю, почему началась слежка, все шло хорошо, теперь ерунда какая то. По моему надо снять их всех, как ты думаешь?

— Судя по всему, наблюдение бессмысленно.

— Я тоже думаю. Мы их снимем.

Азеф словно задумался, потом заговорил в волнении.

— Что же тогда из нашей работы? Дубасов середина на половину. Дурново не удается. Акимов не удается. Риман невыяснено. Что ж мы, стало быть, в параличе? ЦК может нам упрек бросить и будет совершенно прав. Израсходовали деньги и ни черта. Остаются гроши. Надо просить, а вот тут то и скажут: — что же вы сделали?

— Не наша вина.

— Это не постановка вопроса, чья вина. Важно дело. Я думаю послать кого нибудь к Мину иль Риману прямо на прием. Яковлева, например, лихой парень, подходящий. Но в Питере вообще, знаешь, дело дрянь. Как ты думаешь насчет провинции?

— Можно и в провинции.

— Зензинов говорит, что Чухнина убьют. А я не верю. Не убьют. А Чухнина надо убить. Это подымет матросов.

Савинков молчал.

— Ты как думаешь?

— Следовало бы.

— Надо послать кого нибудь. Только кого?

Савинков небрежно развалился в кресле под лампой. Кругом узких глаз лежала сетка морщин. Лицо было длинно, худо, грудь впалая, плечи узкие. Азеф ласково глядел на него.

— А знаешь, что, Иван, — улыбаясь проговорил Савинков. — Давай поеду на Чухнина? Крым люблю, погода прекрасная.

— Ты?—задумался Азеф,—а как же я без тебя?

— Ну, как же? Что ж у тебя без меня людей нет?

— Они все не то, — сморщился Азеф.

— Так все уж и не то! — хохотал Савинков, ласково ударяя по плечу Азефа.

— А что? Тебе хочется съездить в Крым?

— Отчего же. Говорю люблю Крым, взял бы Двойникова, Назарова.

— Не знаю. Нет, Борис, я без тебя тут совсем развинчусь. Впрочем, если ты хочешь...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

1.

Софья Александровна Савинкова за десять лет постарела, как стареют за тридцать. Волосы седы. Прическа не вьющимся валом, а закрученной, старушечьей кукушкой. По лицу пошли коричневатые морщины. Разве остались только глаза. Но и они стали печальны.

Да не только Софья Александровна, все постарело в доме. Горничная Феня стала Федосьей Петровной. Квартира вылиняла. Никто за ней с любовью не ухаживал. А без любви вещи блекнут и вянут.

Окно, где всегда сидела Софья Александровна, выходило на улицу. По тротуару ходили люди. Можно было предположить: — Софья Александровна смотрит на них. Сквозь стекло она была видна. Но она думала о муже, Викторе Михайловиче, о том, что надо прибрать могилу, посадить гортензии. Виктор Михайлович любил гортензии. О том, что не узнает могилы сына Александра. Наверное могилы нет, овраг, заросший бузиной и крапивой. В Якутской области, зарыт Саша, которого носила в себе, с которым было так много хлопот.

За стеклом Софья Александровна увидала почтальона и встала.

— Подожди, — сказала она, шаря в сумочке мелочь. Когда почтальон шумно сбежал с лестницы, Софья Александровна вскрыла телеграмму: — «Немедленно выезжайте курьерским Севастополь сын хочет видеть защитник Иванов».—Софья Александров-

на, опускаясь в кресло, почувствовала, что теряет силы.
— Господи! — вскрикнула она, одна во всей квартире.
— Что это!!?? — Все было ясно. Она читала про покушение в Севастополе на адмирала Неплюева, про взрыв бомбы во время парада. Во вчерашних газетах стояло: — генерал-губернатор Каульбарс передал дело военному суду. Софья Александровна знала: раз защитник телеграфиоует, стало быть обвинительный акт вручен и через 48 часов второй сын будет повешен.

2.

Когда в Севастополе она ехала с вокзала к защитнику сына, капитану Иванову, солнце, разлившись в небе, жгло нестерпимо. И это огненное солнце стало ее мученьем. Она опустила вуаль, раскрыла зонт. Казалось, что в жарком, неприятном городе уже казнили ее сына.

«И как могут в такой жар везти в колясках детей? Неужели не жарко?» Из-за угла под барабан вышла рота. Загорелый офицер в белом кителе и зеленых рейтузах показался Софье Александровне ужасным.

Сколько прошло времени, пока раздались за дверью шаги, Софья Александровна не понимала. Шаги были очень медленны. Она увидала офицера с пушками на погонах и поняла, что артиллерист.

— Я, Савинкова, мой сын...

3.

В одиночной камере севастопольской гауптвахты Борис Савинков стоял на табуретке и, положив на высокий, узкий подоконник руки смотрел в квадратный кусок голубого неба.

Уже с Харькова ему показалась слежка. Но Назаров и Двойников разуверили. В Севастополе в гостинице «Ветцель», где остановился под именем подпору-

чика в отставке Субботина, подозрителен был рябой швейцар. Но счел за мнительность. Да и действительно в день коронации все произошло невероятно глупо.

День был жаркий. Савинков ушел к морю. На берегу лежал, смотря в выпуклую, серебрящуюся линию горизонта. Волны ползли темными львами, шуршали пеной о мягкую желтизну. Бежали парусники. Вдали нарисовался кораблик, как игрушка. Савинков долго лежал. Потом, по пути в гостиницу, услышал удар. «Бьет орудие», подумал. И вошел в вестибюль «Ветцеля». Но на лестнице кто-то крикнул: — Застрелю, как собаку! Ни с места! — И площадка наполнилась солдатами.

Савинкова крепко схватили за руки. Совсем близко было лицо поручика с выгоревшими усиками. Поручик в упор держал черный наган. Савинков видел сыщика с оттопыренными ушами и бельмистами глазами. Но сыщика оттолкнул поручик, потому что он наступил в свалке поручику на ногу. — Ведите для обыска! — кричал поручик. И Савинкова втащили в номер, начав раздевать.

4.

Сознание, что именно он, а никто другой через день будет повешен, перевернуло все в черепе. Стоя у окна, смотря в решетчатый, голубой квадрат, Савинков ощущал полную оторванность. Все стало чуждо, совершенно ненужно. Нужнее всего было это окно.

«Буду болтаться, как вытянувшаяся гадина, и эта гадина будет похожа на Савинкова, как неудавшаяся фотография». — Савинков слез с табурета, прошелся по камере, заметил, что в двери заметался глазок. «Подсматривают», — остановился он и стало смешно. «Я в синем халате, в дурацких деревянных туфлях, чего же подсматривать?». И, прорезая тело наискось каленым железом, резко прошла мысль: — «Все рав-

но. Осталось держаться на суде, так чтоб знали, как умирал Савинков».

— «Гадость», — думал он, — «повесят». Вспомнил, в именьи Петра Петровича рабочие вешали беглого пса. Пес извивался, когда тащили, вился змеей в петле отчаянной мордой, потом протянулся, высунув язык. Рабочий подошел, дернул за ноги, в собаке, что хмыкнуло. Оборвалось сухожилье что ли...

В коридоре послышались шаги ошпоренных ног. По спине к ногам прошла морозная дрожь. Винтовки звякали, прикладами ударяясь о каменный пол.

«Идут».

Шаги и голоса затоптались у двери. Завертелся ключ. Савинков увидал на пороге караульного офицера.

— Приготовьтесь, свиданье с матерью.

Меж любопытно смотревших солдат с винтовками, вошла старая женщина, не в шляпе, как представлял Савинков, а в косынке, с седыми висками. И вдруг, старая женщина, его мать, закачалась. Савинков бросился к ней, застучав по полу туфлями. Упав на руки Софья Александровна резко, странно, высоко закричала.

— Мама, не плачь, наши матери не плачут.

Солдаты у дверей смотрели деревянно. Громадный детина даже улыбнулся.

— Каков бы приговор ни был, знай, я к этому делу непричастен. Смерти я не боюсь, готов к ней.

«Боже мой, боже мой, как он худ». — Софья Александровна даже не слушала.

— Боря, дело получило отсрочку, приехали адвокаты, завтра будет Нина, я получила телеграмму.

— Свидание окончено.

Ощутив смоченные солью, морщинистые щеки Софьи Александровны, он выпустил ее. Софья Александровна тихо вышла, окруженная солдатами.

5.

Через полчаса, в уборной Савинков увидел Двойникова. Выводные курили, толкуя о смене Белостокского полка Литовским. И эта смена им была нужна и интересна. А Савинков говорил обросшему колючей бородой Двойникову:

— Эх, Ваня, это пустяки, что отсрочка, ну повесят стало быть не 17-го, а 19-го.

— Повесят? — дрогнувше пробормотал Двойников. — Всех? И Федю?

— И Федю.

— И вас?

— И меня.

Кивнув вниз головой, словно от короткого удара, Двойников тихо произнес:

— Федю жалко. — Помолчав добавил: — Часы при обыске взяли. Не отдают.

— Часы теперь ни к чему, Ваня.

Выводной сплюнул и крикнул:

— Ну ребята, айдате!

6.

Все было ясно: — виселица. Но карты смешались, когда в камеру ввели Нину. Глаза показались настолько испуганными, что Савинков думал: — не выдержит, упадет. Но, обвив шею, Нина прошептала: «приехал Николай Иванович» и впилась поцелуями и слезами.

Это было отчаянно-невероятно. Если б переспросить?! Вглядываясь в любящее лицо, в темные, страшные глаза, Савинков понял, что не ослышался:—«Николай Иванович» — Лев Зильберберг, глава териокской мастерской, у которого двухмесячная дочка.

— Свидание окончено.

Но это ж секунда, в которую запомнилось лишь выражение глаз. В глазах слезы и что то еще. «Не-

ужто надежда?» — думал Савинков, ходя по камере. — «Почему Зильберберг? Может перепутала, вместо Николая Ивановича — Иван Николаевич, Азеф?» С потрясающей силой желанье бегства, свободы, жизни прорезало тело. Савинков простонал, ломая пальцы.

7.

На конспиративной квартире ЦК, в традиционном дыму, слушая план Зильберберга, Чернов ковырял в носу, шмыгал и вынимал платок. Азеф насупленно молчал. Натансон, отмахнувшись, толковал с приехавшим из провинции крестьянином.

Зильберберг кипел. — Я требую от имени боевиков! — кричал Зильберберг. Но почему Льву Зильбербергу пришла в голову сумасшедшая мысль освободить из крепости Савинкова? Он меньше других знал его. Только однажды, на иматрской конференции боевиков, на праздничном обеде, Савинков на пари писал между жарким и сладким два стихотворения. И когда читал, веселей всех радовался такой талантливости боевик Зильберберг.

— Требую, — ухмылялся Чернов Азефу,—требовать то все мы мастера. Молодо-зелено, Иван. Ну как там его из крепости освободишь?

— Товарищи! — заговорил Азеф, — я глава террора и друг Бориса, но должен сказать, как мне ни дорог Борис, высказываюсь против плана освобождения. Надо знать, что такое крепость и что такое охрана в крепости. Жалость не резон, чтобы мы теряли бешеные деньги. К тому же вместе с деньгами теряли и таких работников, как Николай Иванович. Мы не богаты. Наша единственная цель — революция. Мы не имеем права итти на сантименты даже по отношению к Савинкову. Да, я первый бы пошел спасать его, но у нас нет средств спасения, поэтому нечего строить испанские замки.

И все же Зильберберг зашивал в пояс деньги, конспиративные адреса, торопясь поспеть к поезду. В передней совсем уж в дверях нагнал Виктор Михайлович, сжимая хрупкую руку в громадных короткопалых шатунах, быстро проговорил:

— Вы уж, кормилец, постарайтесь для Павла Ивановича то, постарайтесь и на меня не серчайте. А если увидите Павла то Ивановича, всяко бывает и медведь с крыши летает, поцелуйте. Так и передайте, что мол целую его и впечатление, скажите, громадное, колоссальное!!!

8.

Жандармские офицеры за столом сидели с карандашами. Все были в парадной форме густых эполет, в аксельбантах, орденах. Заседание красиво-одетых людей казалось торжественным. Во фраках с белыми пластронами, бритые адвокаты поблескивали стеклами пенснэ. Впечатления общей торжественности не портили.

— Суд идет! Встать!

Софья Александровна раздвоилась. Одна рассматривала председателя, генерала Кардиналовского, звенящих шпорами офицеров. Другая зажалась в ней же самой, ждущая только, чтоб отворилась белая дверь.

Бас генерала сказал: — Введите подсудимых!

Забилось сердце. Колыхнулась дверь. Блеснули сабли. Среди сабель шел легкой походкой, в руке с розой, Борис Савинков. Конвойные были выше ростом. Увидав мать, он улыбнулся, кивнув.

Сзади, Двойников и Назаров ступали тяжелее. Брови были сжаты, лица сведены.

— Подсудимый встаньте, скажите ваше звание, имя и отчество.

Сквозь густую пелену, заложившую уши, Софья Александровна услыхала:

— Потомственный дворянин Петербургской губернии Борис Викторович Савинков.

Софья Александровна не слыхала ответов других подсудимых. Видела только, что встают, говорят, «Господи», прошептала она.

Из-за стола защиты поднялся левый фрак, поблескивая пенснэ. Непохоже на военных заговорил: — Смею указать суду, на основании законов военного положения данное дело не согласно закону передано военному суду генералом Каульбарсом, оно могло быть передено только адмиралом Чухниным. Таким образом совершенная неправильность является, с точки зрения права, кассационным поводом...

Нина чувствовала, фрак адвоката Фалеева говорит хорошо. Военные смотрят с неудовольствием.

В противоположном конце поднялся прокурор. Худ, желт, черно-глаз. Тоже поблескивает пенснэ, но язвительно: — Это является формальным моментом судопроизводства. И нам решительно безразлично, каким путем дело дошло до военного суда — говорил черно-желтый прокурор, нервно, раздраженно, словно скорей хотел убить Савинкова, Двойникова, Назарова и Макарова, покушавшегося на адмирала Неплюева, немного даже смешного шестнадцатилетнего, румяного юношу, который, сидя на скамье, улыбался розовыми щеками.

— Суд удаляется на совещание.

Савинков обернулся к жене и матери. «Боже, как он может улыбаться», — думала Софья Александровна. Нина сидела закрывшись платком.

— Суд идет!

Генерал Кардиналовский произнес басом:

— Суд признал дело слушанием продолжать.

Софья Александровна и Нина видели чуть сгорбившуюся спину и затылок Савинкова. Из-за стола защиты поднялся фрак адвоката Л. Н. Андронникова. Голос Андронникова резче, манеры острее.

— Смею обратить внимание суда на происшедшее нарушение прав обвиняемого Макарова. Согласно закону подзащитный имел право двухнедельного срока на подачу отзыва на решение судебной палаты о его

разумении, между тем прошло лишь четыре дня. Таким образом права обвиняемого Макарова я должен считать нарушенными, если суд не признает дело слушанием до истечения законом положенного срока отложить.

— Суд удаляется на совещание.

«Уважат», — говорили в публике, — «Не думаю». Прямыми шагами шел генерал Кардиналовский. Наступила тишина. Нина слышала: скрипит спинка стула, за который схватилась Софья Александровна. Генерал читал:—Принимая во внимание статью, принимая во внимание указанное, а также в подтверждение сего, принимая параграф... суд признал дело рассмотрением...

Спинка стула скрипнула.

— ...отложить.

Звон сабель, крик, шум. Конвой оттеснял метлешащиеся фраки. Подсудимые шли в блестящих саблях, в белую дверь.

9.

Радостней всех из зала суда выбежал худой, красивый человек с черными усами. Он почти побежал по улице, торопясь на Корабельную, где жил в семье портового рабочего Звягина в малой полуподвальной комнате.

Но лишь только Зильберберг, пригнувшись в сенях, чтоб не разбить лоб, перешагнул порог подвала, навстречу метнулись испуганные лица Звягина, жены и девятилетней Нюшки. А вслед за тем в темноте сверкнула военная форма и высокая фигура двинулась к нему.

Зильберберг сунул руку за револьвером и отшатнулся. Дверь захлопнулась, стало темно.

— Вы, Николай Иванович? — проговорил в темноте голос.

— Кто вы и что вам нужно? — Зильберберг вынул в темноте револьвер.

— Я член симферопольского комитета партии — Сулятицкий. Хочу говорить по интересующему вас делу.

Голос молодой, полный веселья. В последних словах Зильберберг различил почти что смех.

— Чорт бы побрал, — пробормотал Зильберберг. — Я вас чуть не ухлопал, я ждал вас вчера.

И когда раскрыли дверь, Сулятицкий увидел, что Зильберберг прячет в карман браунинг.

— Веселенькая история, — пробормотал он, — куда же мы пойдем?

— Ууу, што б тебя, — бормотнул Звягин.

— Пойдемте в мой «кабинет», — смеясь, сказал Зильберберг.

— А как ваши хозяева? Мы в безопасности?

— О да. Не будем терять времени, мне через час надо уходить.

— Ваш комитет, — говорил Зильберберг, когда они сели в подвальной каморке, — сказал, что вы придете завтра.

— Завтра не мог быть, назавтра я в карауле.

— В крепости?

— Да.

— Но позвольте, караул занят Белостокским полком, а вы Литовского?

— Мы сменяем. Не волнуйтесь, знаю, что установили связь с белосточанами. Литовцы будут не хуже.

Сулятицкий высок, белокур, с большим лбом и яркими, васильковыми глазами. Он внушал доверие, полное спокойствие.

— С вами, думаю, не пропадем, — говорил Зильберберг, глядя на веселого Сулятицкого. — Видите, у меня два плана. Первый — открытое нападение на крепость, как вы думаете?

Сулятицкий покачал головой и, до смешного яркими глазами, улыбнулся:

— Не выйдет, — проговорил он. — Освобождать надо с подкупом и риском побега прямо из тюрьмы.

— Это второй план. Если вы отклоняете первый, обсудим второй.

Сидя на смятой, пятнастой кровати, застеленной лоскутным одеялом, стали обсуждать второй план.

10.

Штаб крепости полагал, что арестованных повесят в ночь суда. Но их не повесили. Штаб приказал: — усилить надзор, уменьшить передачу с воли, сократить свидания.

Мысли о висящей собаке Савинкову казались уже чужими.

Савинков знал: гауптвахта охраняется ротой. Рота в карауле делится меж тремя отделениями. Общим, офицерским и секретным, где содержатся они. Коридор с двадцатью камерами досканально изучил, проходя в уборную. С одной стороны он кончался глухой стеной с забранным решеткой окном. С другой кованной железом дверью, ведшей в умывальную. Дверь эта всегда была на замке. В умывальную же с четырех сторон выходили: — комната дежурного жандармского унтер-офицера, кладовая, офицерское отделение и кордегардия. А из кордегардии — знал Савинков — единственный выход к воротам.

Но в секретном коридоре на часах стоят трое часовых. У дверей в кордегардию двое. У дверей в умывальную двое еще. Между внешней стеной крепости и гауптвахтой тянутся бесчисленные посты. За внешней стеной опять протаптываются караульные. И, замерев, стоят на улице и у фронта, у пестрых, полосатых как версты, будок.

Это узнал Савинков у, выводящего в уборную, солдата Белостокского полка Израиля Кона. Кон связал с солдатом членом партии, был готов помочь бегству, умоляя об одном, чтобы Савинков взял и его. Кон тщедушный, веснущатый еврей, тяготился службой,

мечтая о торговле в Америке, откуда получал томившие письма родственников.

Савинкову казалось: — все налаживается. Но, встав утром, условно кашлянув три раза, заметил, что глазок в двери не подымается, попросясь в уборную, увидел незнакомых солдат.

— Какого полка? — спросил он, идя с конвойным.

— Литовского, — и по окающему говору Савинков понял, что солдат нижегородец.

«Повесят», — умываясь, думал Савинков.

— Чего размылся! — грубо проговорил нижегородец, здоровый парень лет двадцати двух.

Савинкову хотелось всадить штык в живот этому нижегородцу, затоптать, вырваться наружу, к товарищам. Но вместо этого, пошел обратно в камеру с нижегородцем.

И когда щелкнул замок, силы упали. Савинков лег на койку. Лежал несколько часов. Даже не заметив, как повернулся ключ в замке и дверь отворилась.

На пороге стоял высокий вольноопределяющийся с голубыми, смеющимися глазами.

— Я разводящий, — проговорил он. — В лице, в смеющихся глазах Савинкову почудилась странность. Но Савинков не встал с койки, а еще плотнее запахнулся в халат.

— Я от Николая Ивановича, — проговорил, подходя, разводящий.

— Что? — проговорил Савинков, не понимая.

— Чтобы вы не сочли меня за провокатора, — быстро, посмеиваясь, говорил Сулятицкий, — вот записка, прочтите, скажите, готовы ли на сегодня вечером?

— Побег? — прошептал Савинков и кровь бросилась в голову.

Зильберберг писал: — «Сегодня вечером. Все готово. Во всем довериться Василию Митрофановичу Сулятицкому».

Сердце забилось. Сидя на койке, Савинков сказал:

— Я готов. Только как же с товарищами? Шли вместе на виселицу.

— Я так и думал. Вы с ними получите свидание. Жандарм подкуплен, ровно в 12 дня проситесь в уборную. Назаров, Двойников будут там. А теперь надо итти, итак до 11 ночи.

Когда Савинков остался один, им овладело страшное волнение. «Неужели вечером? свободен?» Он ходил по затхлой, темной камере. В такую быстроту появления Сулятицкого, подкуп жандарма, в побег — не верил.

Но время шло. Крепостные куранты проиграли 12. Савинков стал стучать в дверь. На стук подошел нижегородец.

— В уборную.

Дверь отворилась. Савинков пошел с конвойным. В дверях уборной конвойного окликнул красноносый жандарм. Они заговорили. В уборной стояли Назаров, Двойников и Макаров.

— Товарищи, — быстро, тихо прошептал Савинков, — сегодня один из нас может бежать. Надо решать кому.

Наступило краткое молчание.

— Кому бежать? — проговорил грубовато Назаров, — тебе, больше говорить не о чем.

— Без вашего согласия не могу.

— Тебе, — проговорил Двойников.

Макаров тихо сказал:

— Я ведь вас не знаю.

Назаров наклонился к Макарову, шепнув на ухо.

— Да? — радостно переспросил Макаров и по взгляду Савинков понял, что Назаров шепнул о БО.

— Конечно, конечно вам, — глаза Макарова наполнились детским восторгом.

«Хорош для террора», — подумал Савинков.

— Что ж, товарищи, это ваше решение?

— Да, — проговорили трое.

Секунду молчали.

— А как убежишь? — тихо сказал Двойников. — Часовых тут! Как пройдете? Убьют.

— А повесят? — баском проговорил Назаров, — все одно, пулей то легше, беги только, — засмеялся он сплошными, желтоватыми зубами. — А убежишь, кланяйся товарищам.

В уборную раздались шаги.

Они разошлись по отделениям.

— Довольно лясы точать! — прокричал красноносый, подкупленный жандарм. Савинков вышел из отделения, застегивая для виду штаны. И с нижегородцем пошел в камеру.

11.

Но вечер не хотел приходить. Время плыло томительно. Савинков лежал на койке из расчета. Копил силы. Выданный на неделю хлеб весь сжевал. Иногда казалось, сердце не выдержит — разорвется.

Как только зашло за морем солнце, в камере стемнело. В коридоре зажглись огни. Савинков слышал крики — «Разводящий! Разводящий!» — кричал видимо караульный офицер поручик Коротков. Потом кто то закричал — «Дневальный! Пост у денежного ящика!» — Потом шли ноги, ударялись приклады, звякали винтовки.

Когда приоткрывался глазок, Савинков видел кружок желтого света. Вечер уж наступил. Савинков был готов каждую секунду. Вот сейчас, вот эти шаги остановятся у двери. Вот сейчас войдет Сулятицкий, они пойдут коридором. Как? Савинков не представлял, не в халате наверное. Надо будет переодеваться. А может быть тот самый часовой, что спокойно зевает, проминаясь у наружной стены, разрядит в спину Савинкова обойму и он скувырнется на траве также, как Татаров на полу своего дома.

Ожидание томило. Савинков чувствовал, сердце бьется неровными ударами, словно вся левая сторона

груди наполнилась крылом дрожащей от холода птицы. Куранты проиграли медленно, отчетливо выводя каждый удар: — 11 ночи.

«Ерунда. Не удалось», — сказал Савинков через час, подымаясь с койки. В ожидании прошел еще час. В течение его куранты играли четыре раза: — четверть, полчаса, три четверти и наконец тяжело и гулко: — час!

«Кончено. В три светло. Остается полтора часа темноты. Обещал в одиннадцать. Если не придет полчаса, надо ложиться». Савинков встал с койки, подойдя к столу бессмысленно взял жестяную кружку, посмотрел на нее. Кружка казалась странной. В это время услыхал: — сильные, твердые шаги остановились у двери. Ключ повернулся может быть чересчур даже звонко. И в камеру чересчур может громко вошел Сулятицкий. Савинков понял: — побег сорвался.

Стоя посредине камеры, Сулятицкий закуривал. Закурив сказал:

— Ну что ж, бежим?

— Как? Можно еще?

— Все готово. Вот сейчас докурю, — проговорил Сулятицкий. Он был спокоен. Только глаза сейчас были темны.

— Послушайте, вы рискуете жизнью,—сказал Савинков, подходя к нему.

— Совершенно верно. Об этом я хотел предупредить и вас. А посему возьмите, — протянул браунинг.

— Что будем делать, если остановят?

— Солдаты? В солдат не стрелять.

— Значит назад, в камеру?

— Нет зачем же в камеру? Если офицер, стрелять и бежать. Если солдаты, стрелять нельзя. Застрелиться.

— Прекрасно.

— А теперь идемте, — вдруг сказал Сулятицкий, отбрасывая окурок, и Савинкову показалось, что он

совсем еще не приготовился. Но Сулятицкий уже вышел и Савинков пошел за ним в коридор.

Коридор горел тусклым керосиновым светом. Фигуры часовых у камер были сонны. Савинков увидал, что один дремлет, прислонясь к стене. Но рассматривать было некогда. Соображать было незачем. Он быстро шел за Сулятицким к умывальне.

Увидав разводящего, часовые вытягивались, оправляя пояса и подсумки.

— Спишь, ворона? — бросил Сулятицкий в умывальной. Вздрогнув, солдат не сообразил, что арестованного умываться водят не в два, а в пять и водит его жандарм.

— Мыться идет, болен, говорит, — бросил Сулятицкий другому. И тот ничего не ответил разводящему, что то шевельнув губами. Когда же дошли до железной двери, Сулятицкий ткнул в живот смурыгого солдатенку и крикнул в самое ухо:

— Спать будешь потом, морда! Открой! — солдат быстро открыл железную дверь.

Савинков вошел в умывальную, стал умываться, размыливая квадратный кусок простого мыла. Справа, слева стояли солдаты. Он видел в отворенную дверь: — на деревянном, желтом диване храпит подкупленный дежурный жандарм, с упавшей на грудь головой и лампочка у него совершенно тухнет от копоти. Сулятицкий вышел в кордегардию осмотреть все ли спокойно. Вернувшись, выводя Савинкова, сунул в темноте коридора ножницы и указал быстро на кладовую.

В кладовой Савинков захватил отросшую бороду и усы. С быстротой молнии сбросил халат, натягивал пахнущие прелью штаны, сапоги, гимнастерку. Пряжка ремня не застегивалась полгода. Но прошло всего четыре секунды.

Савинков вышел. Быстрей чем до этого пошли прямо в кордегардию. Часть сменившихся спала на полу. Воздух был зловонен. Часть солдат возле лампочки слушала чтение. По складам читал двадцати-

двухлетний нижегородец: — «Го-су-дар-ствен-на-я дума в по-след-нем за-се-да-ни-и».

Кое кто посмотрел. Отвернулись, увидав разводящего. Они прошли кордегардией и вышли в сени. Из сеней Савинков увидал: в караульном помещении сидел к ним спиной поручик Коротков, в полном снаряжении, с ремнями через плечи, шашкой, кобурой револьвера сбоку. Но наружная дверь была в двух шагах. Савинков почувствовал, как необычайно пахнет предрассветный воздух. Закружилась голова, он покачнулся, задев локтем Сулятицкого. Но они молча, очень быстро шли. Часовой у фронта двинулся им наперерез. Увидав погоны литовского полка, остановился, повернул назад и было слышно, как он сладко и громко зевнул в ночи.

Они шли длинным, узким, каменным переулком. Еще нельзя было бежать, могли заметить часовые, но они уж почти бежали. В темноте уж видели сереющего своего часового, поставленного Зильбербергом — матроса Босенко. У Босенко от холода ночи и ожидания дрожали челюсти и били зубы.

— Скорей переодевайтесь, берите, — бормотал он, подставляя корзину с платьем. Но Сулятицкий проговорил: — Нет, нет, надо бежать, может быть уже погоня. — И втроем, повернув за угол, бросились бежать по направлению к городу. Они вбежали в начинающийся в рассвете севастопольский базар. Торговки уставляли корзины с зеленью, фруктами. Шлялись матросы в белых штанах и рубахах. На бежавших никто не обратил внимания. Миновав базар, они бросились по темному, но уж сереющему переулку.

Звягин и Зильберберг слышали, как Нюшка что то бормочет на печи. У обоих были в руках револьверы. То тот, то другой выходили к калитке. Наконец первый Звягин услыхал топот ног и, вглядываясь в сереющую темноту, разглядел быстро увеличивающиеся три темные фигуры. Он вбежал в квартиру.

— Николай Иваныч, здесь!

Зильберберг вскочил, бросился к выходу, сжимая револьвер. Но в двери уж один за другим вбегали: — Савинков, Сулятицкий, Босенко.

Зильберберг схватил Савинкова. И как были оба с револьверами, они надолго, крепко обнялись.

— Скорей переодевайтесь, Босенко вас проведет к себе, тут опасно.

— Да што опасно, пусть тут, Николай Иваныч.

— Нет, нет, Петр Карпыч, ты брось, дело надо делать по правильному.

Савинков в торопливости не попадал ногой в штанину поношенной штатской тройки, какие носили севастопольские рабочие.

12.

В береговом домике пограничной стражи блестел желтый огонек, закрываемый в ветре кустами. Мимо стражи до шлюпки по воде добрались беглецы. И вот уж крепкими мозолями травил и снова выбирал шкот Босенко. Командир бота, отставной лейтенант флота Никитенко, приложив ладони к глазам, всматривался в темную даль, где тиграми прыгали волны взбунтовавшегося моря.

Ночь была темна, ни зги. Ветер рвал черный, отчаянный. Сквозь круглые, тупые холмы, обрывающиеся к морю рыхлыми скатами, бот по Каче уходил в открытое море.

— Отдай шкоты! — басом кричал Никитенко. Парус полоскался в темноте ветра, как черный флаг. На шкотах сидел, похожий на широкую кошку, Босенко. Шкот второго паруса на баке держал студент Шишмарев. Савинков, Зильберберг, Сулятицкий сидели на банках. Море было бурно, бешено. В темноте далекого горизонта мелькали огни.

— Эскадра, — проговорил Никитенко.

— Для стрельбы, — ответил Босенко.

Но ветер уж налетел, как двести добрых быков уперся в парус, нес раскачивая шлюпку с Савинковым,

Зильбербергом, Сулятицким дальше и дальше в открытое море.

— Куда держим курс?

— На Констанцу.

— А дойдем?

— За это не ручаюсь, — сказал Никитенко.

Волны подбрасывали шлюпку, ударяли с обеих сторон по дну, словно кто-то мокрыми ладонями бил по громаднейшей лысине. И снова — такой же шлепок, плеск, качанье. И так в темноте — всю ночь.

А когда пришел морской, серый рассвет, внезапно, огненным шаром выкатилось солнце, покатившись по Черному морю, тогда, обернувшись на север, Савинков увидал только едва видневшиеся очертания Яйлы.

Через несколько часов исчезли и они. Шлюпку охватило открытое море. Но ветер свежел. Волны бешеней бились. Некоторые перелетали, обдавая беглецов солью брызг и пены. Лейтенант Никитенко становился беспокойнее.

— Босенко, — говорил он, — видишь дымок? иль мне так кажется? — Обо всем Никитенко говорил только с матросом. Штатские были на море у него в гостях.

— Дымок, — проговорил Босенко, вглядываясь на север.

Никитенко приложил бинокль.

— Миноносец, — проговорил он. — Погоня.

Шесть человек повернулись на север с чувством настигающей опасности. Но в бинокль было видно, как уже близившийся миноносец, положив лево руля, прочертил вдруг быструю дугу и стал уходить влево.

И снова в порыве ветра, когда налетал он шквалом, вместе с кучей черных пенистых волн, кричал отставной лейтенант:

— Отдай шкоты!

Босенко травил шкот. В ветре полоскался белым флагом парус. Пока его снова не ставил матрос, похожий на широкую кошку. Пассажиры изредка пере-

говаривались. Сулятицкий резал толстыми ломтями сало.

Во вторую ночь, когда усталый Зильберберг, прислонившись к Савинкову, спал, Никитенко пробормотал:

— Как хотите, до Констанцы не дойти.

— Куда же? — спросил Сулятицкий, у которого стучали зубы от промокшести и холода ночи.

— Надо по ветру на Сулин.

— До Констанцы, как плюнуть, рыб накормим, — с шкотов сказал Босенко.

— А из Сулина куда денемся? — говорил Савинков. — Пароходы по Дунаю не знай когда идут. Накроют в Сулине, выдадут.

Шлюпку рвало, метало в стороны. Волны неслись круглыми, пенистыми львами, прыгавшими в игре друг на друга.

— На Констанцу не поведу — верная гибель, — проговорил Никитенко. — Начинается шторм и прошу не спорить. Глупо после побега утонуть на море. Из Сулина проберетесь, я ручаюсь.

И повернувшись на волнах, шлюпка запрыгала меж волн по ветру. К вечеру третьего дня показались огни маяков. Осторожно меж мелей плыла шлюпка. Чем ближе чернел берег, быстрей скользила она по ветру. Уже смякли, упали паруса. Босенко с Шишмаревым в темноте подняли весла. Все молчали. Прошуршав по песку, шлюпка привскочила и встала. На чужой, пологий берег выпрыгнули три темных фигуры. Шлюпка, скользнув, скрылась в темноте.

13.

В средневековой готике Гейдельберга, где узки улички, стары дома, цветноголовы студенты, седовласы профессора в черных крылатках, в древнем романтическом осколке Германии, умирал русский революционер Михаил Гоц. Этого не знали ни студенты, ни

профессора, ни квартирные хозяйки старого Гейдельберга. Гоц умирал ужасно: от избиения в тюрьме.

В раннем нежгущем солнце старый Гейдельберг был великолепен. Гоц уж не мог сидеть в кресле. Давно лежал, похожий на высохший труп. Светились глаза. Но и они слабели.

— Дорогой мой, дорогой, как я, — старался подняться Гоц, но Савинков склонился к нему.

— Если б вы знали, как мучился...

«Умирает», — думал Савинков.

— ... негодовал, ведь вы поехали, не имея права. Было постановление временно прекратить террор, вы знали?

— Я все равно бы поехал. Боевая была в параличе.

— Была, — улыбнулся синими губами Гоц, — теперь она в полном параличе. Ничто не удается. Иван Николаевич выбился из сил. Ни одно дело. Все проваливается. Максималисты на Аптекарском, взрыв — читали? Бессмысленно, ужасно. Такие отважные смелые люди. Но вы знаете прокламацию нашего центрального комитета, осуждающую акт? Не читали? — Гоц заволновался, замолчал, закрыв глаза. — Очевидно меня уж считают погребенным, — тихо сказал он. — Я ничего не знал о прокламации. В ней резко, не по товарищески отмежевываемся от максималистов, после их геройского акта, после жертв, смертей.

— Но кто же писал?

— К сожалению, Иван Николаевич.

— Азеф???!

— Не понимаю, он наверное устал, неудачи измучили. Иначе не объясню, позор. — Гоц сморщился от боли и застонал.

Савинков думал о том, что в чужом городе, где летними толпами ходит молодежь, распевая песни о Рейне, о Лорелее, в чужой, размеренно текущей, как песок солнечных часов, жизни, умирает брошенный, забытый товарищ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

1.

Все смешалось вокруг Азефа. Никто не знал, что глава боевой не спит ночами. В темноте лежа толстым телом на широкой кровати, Азеф бледнел. Кто б думал, что каменный человек труслив и способен предаться отчаянью. Азеф боролся с боязнью. Но умная голова, как не раскладывала карты, как не разыгрывала робер, — выходил неизбежный страх разоблаченья.

Азеф боялся не разоблаченья, — смерти. Чтоб не повесили по гапоновски, не убили по татаровски. Ночью представляя, что, во главе с неожиданно освобожденным Савинковым, его тащат товарищи, Азеф зажмуривал глаза, тяжело вздыхая гормадным животом, под тяжестью которого лежал в постели.

«Все складывается подло», — бормотал он. — «Мортимер, максималист Рысс, став фиктивным провокатором, передал в партию обо мне. Об этом же пришли в партию два письма, вероятно, от обойденных Герасимовым чиновников. Как бы то ни было, недоверие начнет вселяться». Азеф клял Герасимова, что думая о своей карьере, схватил мертвой хваткой его и не дает передышки. Страхи приводили к припадкам, с хрипами и мучительной икотой.

2.

— Эээ, полноте, Евгений Филиппович, я думал вы, батенька, смелее. Да, что там поднимается? Факты, фактики нужны! А фактиков нет! Да, если б и поднялось, вас Чернов с Савинковым всегда защитят. Прошлое за все ручается. Дело то Плеве да Сергея Александровича не фунт изюму для партии!

Азеф морщился желтым, жирным лицом.

— Я не при чем в этих делах, бросьте, Александр Васильевич, шутки.

Герасимов только похлопывает по толстому колену, похахатывает. Подпрыгивает на щеке кругленькая пипка.

— Преувеличиваете все, дорогой. Слышите, как новый кенар поет, а? Это к добру, батенька, к добру. Изу-ми-тель-ней-ши-й кенар!

Азефу противна птичья комната генерала. Не за тем он пришел. Отчего только весел генерал Герасимов?

— Я, Евгений Филиппович, думаю вот что, с террором, батенька, надо под-корень ударить. Отдельные выдачи ничего не дают. Ну, что отдали Северный летучий отряд, ну повешу лишних десять негодяев, не в этом музыка. Распустить надо, официально распустить, понимаете? Устали, скажем, не можете, уехали заграницу, сами говорили, без вас дело не пойдет. Деньги дадутся, будьте покойны, ну вот бы...

Азеф лениво полулежал в кресле, он казался больным, до того был обмякш, жирен и желт.

— Я к вам по делу пришел, — проговорил он, раздувая дыханьем щеки, — можно сделать большое дело, только говорю, это должно быть оплачено. После него я действительно решил ехать заграницу. Мне нужен отдых.

— Я же вам сам говорю.

Азеф молчал. Затем поднял оплывшие глаза на Герасимова и медленно проговорил:

— Ведется подготовка центрального акта. Отставной лейтенант флота Никитенко, студент Синявский. Для совершения Никитенко вступил в переговоры с казаком, конвойцем Ратимовым.

— Ра-ти-мо-вым? — переспросил генерал.

— Возьмите конвойца в теплые руки, все дело захвачено. Сможете вести, как хотите, через конвойца свяжетесь с организацией. На таких делах жизнь строят, — лениво рокотал Азеф. — Около него вьются Спиридович и Комиссаров, но они ни черта не знают. Берите завтра же Ратимова, дело ваше.

Силен, хитер, крепок, — какой корпус! — у генерала Герасимова. Проживет сто лет. Бог знает, чему слегка улыбается он. Может скоро сядет на вороных рысаков, мчась туманным Петербургом. Ведь это же личный доклад царю, спасение царской жизни!?

— Кто ведет дело, Евгений Филиппович? — проговорил генерал, серостальные глаза схватили выпуклые, ленивые глаза Азефа.

— Я сказал же, Никитенко, отставной лейтенант. Да, вам никого не надо, берите Ратимова.

Глаза не сошли с глаз Азефа. Генерал соображал, с каким поездом завтра выедет в Царское, как удобней возьмет дворцового коменданта генерала Дедюлина, чтоб не выдать игры.

— Вы говорите, Спиридович и Комиссаров вьются? Но знать о деле не могут?

— Нет.

О, у генерала Герасимова много сил, крепки нервы!

— Когда же вы заграницу? Вы с женой? То есть простите, если не ошибаюсь ваша жена партийная? А это страсть. Ну оцениваю, оцениваю, роскошная женщина. Колоссальное впечатление! Если не ошибаюсь, ведь «ля белла Хеди де Херо» из «Шато де Флер»? Знаю, знаю, как же страсть вашу великий князь Кирилл Владимирович разделил, — ха-ха-ха!

— Не знаю, — нехотя бормотнул Азеф. У него ныли почки.

3

— Борис! Борис! — вскрикнул он, все увидели, как Азеф зарыдал, обнимая Савинкова. Три раза близко мелькало желтое, толстое лицо, когда целовали, после разлуки, увлажненные, пухлые губы.

— Позволь познакомить, Иван — Сулятицкий, Владимир Митрофанович, мой спаситель от виселицы.

— Счастлив, счастлив. — Глаза каменного человека засветились лучисто, мягко, лицо приняло ласко-

вое, почти женское выражение. — Этого мы вам не забудем, спасение Бориса для нас...

— Я уж придумал ему кличку, Иван, по росту, — смеялся Савинков, — он у нас будет называться «Малютка».

Но каменное лицо мрачнее и глаза ушли под брови.

— Разве вы хотите работать в терроре?

— Да.

— Гм....

Савинков знает пронзительный взгляд и недоверчивое просверливание.

— А почему именно в терроре? Почему не просто в партии, нам нужны люди...

— Я хочу работать в терроре.

— Ну, это мы поговорим еще, правда? — улыбается мягко Иван Николаевич и говорит уж о постороннем. Только изредка вскользь видит на себе пронизывающие глаза Сулятицкий.

— Ха-ха-ха! А ты все такой же! Ничуть не изменился! Тебе крепость на пользу пошла, ей богу ха-ха-ха! — и груда желтого мяса, затянутая в модный костюм, трясется от высокого смеха.

4

Кабинет ресторана «Контан» мягко освещен оранжевыми канделябрами. Из-за стены несется прекрасный вой гитар, скрипок. Когда смолкают, запевает мужской, перепитый, полный чувства голос.

— Ну рассказывай, — говорил Азеф, наливая бокалы.

Савинков, меж едой и вином, с блеском, даже юмором рассказывал о крепости, побеге, о бегстве морем в шлюпке с Никитенко. Азеф нетерпеливо перебивал.

— Молодец Зильберберг! молодец! Я ведь не надеялся, даже знаешь возражал, ужасно, ужасно...

Азеф был нежен. Таким Савинков знавал его. Но когда настала очередь Азефа рассказывать, обмяк,

вобрал без того бесшейную голову в плечи, нахмурился.

— Я говорил, без тебя мне совсем трудно. ЦК критикует бездействие. А попробовали бы сами. Чем я виноват, что наружное наблюдение ничего не дает, что Столыпин охраняется так, что его даже увидеть не могут. Почти все товарищи говорят о слежке за ними, нет, Борис, уж таких товарищей, как Каляев и Егор, все мелочь, я уверен, многие врут, что замечают слежку, уж что то очень сразу все стали замечать. Я не верю. Я так устал из-за этого. Как ты думаешь, что бы сделать для поднятия престижа БО, а?

Азеф смотрел на Савинкова прямо, как редко на кого смотрел. Он хорошо знал Савинкова.

За стеной шел рокот, стон инструментов, гортанные выкрики. Кто то отплясывал, слышались тактовые удары быстрых ног.

«Цыганскую пляшут», — думал Савинков.

— Что предпринять? — проговорил он, играя наполненным бокалом. — Вот, например, Сулятицкий предлагает цареубийство. Он поступит по подложным документам в Павловское военное училище. На производство всегда приезжает царь, он убьет его.

— Это неплохо, но не выпускают же юнкеров каждую неделю? Надо ждать, чорт знает, сколько времени. Это не поднимает боевую сейчас. А ЦК требует. Они ставят ребром: — или финансируют или боевая должна перестроиться.

Снова взвизгнули томным визгом скрипки, гитары. Кто-то чересчур рвал гитарные струны, выкрикивал. Ах, застенные скрипки, русских отдельных кабинетов! Как любил их Борис Савинков! За одну ночь с цыганками, румынскими скрипачами отдавал много души и денег. И теперь волновал кабак.

— Грозят прекратить финансирование?

— Ну да. Они правы. Если организация не работает, то за что же платить?

— Милый мой, мы не подряды берем.

— Ну да, — недовольно пробормотал Азеф, — ты лучше посоветуй, что делать.

— Сразу трудно что-нибудь придумать. Постой, Иван, дай осмотреться, вот например Мин или Лауниц?

Азеф махнул рукой, надувая губы.

— Можно поставить, но ведь ерунда, нужен первостепенный акт, чтоб заговорила Европа, всколыхнулось все, вот что нужно, тогда будут деньги.

Савинков налил шампанского в узкогорлые бокалы с золотым обводом. Ел жареный миндаль, грыз, хрупая, прислушивался к далекой музыке.

— Тут с тобой ничего не выдумаем, надо осмотреться.

Азеф вскинул темные, выпуклые глаза. Сидел, грузно облокотившись на стол.

— Знаешь, Боря, я так устал да и ты, думаю, поставим дело перед ЦК: — мы вести больше не можем, нам нужен отдых и выедем заграницу.

— Совсем отказаться?

— Зачем совсем? Отдохнуть. Ведь это же невозможно, ты пойми все в боевой и в боевой, не мясник же я, у меня тоже есть нервы.

— Но тогда, кто-нибудь другой возьмет.

— Кто? Чернов, что-ли? — захохотал трескающимся смехом.

— Слетов может взять.

— Брось. За Слетовым пойдут товарищи? — лицо Азефа выражало презрение. — Я тебе говорю, кроме как за мной и за тобой боевики ни за кем не пойдут, ну пусть на время приостановится террор, ты видишь, все равно ничего не выходит, одни провалы. Надо поискать новых средств, вот у меня в Мюнхене есть знакомый инженер, он строит какой-то не то воздушный шар, не то еще что то, я думаю это может нам пригодиться, я уж вступил с ним в переговоры.

Снова выкрикивал мужской голос, заныли по цыгански гитары.

— Собственно говоря, ты прав, отдохнуть надо, мы не железные, пусть попробует кто-нибудь другой. К тому ж наши способы действительно устарели, вон, максималисты перешли к новым способам и к ним уходят от нас свежие силы. Наш террор устал.

Азеф молчал. Разговор должен был кончаться. Он знал, в заседании ЦК Савинков выступит с заявлением о сложении полномочий. Он нажал кнопку звонка, изображавшего декадентскую женщину. Вошел мягконогий лакей.

— Ту же марку, — проговорил Азеф.

— Ты что мало пьешь? Я почти один выпил?

— Я могу пить каждый день, — рассмеялся Азеф, — а тебя в Крыму шампанским поди не поили.

Двери кабинета открылись. На пороге появились смуглый цыган, наглого вида, в бархатном костюме, с гитарой в разноцветных, шелковых лентах и цыганка в пестром, таборном костюме. Идя к Азефу и Савинкову она певуче проговорила:

— Разрешат богатые господа?

Азеф только ухмыльнулся липкой мясистостью губ. И пестрым гомоном, визгом, криком наполнился кабинет. Испитой старичек с хризантемистой головой стучал маленькими, желтыми руками по пианино. Цыганка спросила имена. Под два удара сверкнув глазами, повела:

«Ах, все ли вы в добром здоровии».

В оранжевом свете многих канделябр, как на елку в Рождество, грянули цыгане старое величанье обращаясь к Савинкову.

«. . . . . . . вина полились рекой.
К нам приехал, наш родимый, Пал Иваныч дорогой!»

— Иихэх! Ииах! Иихэх! — трепет, дребезг ног по отдельному кабинету заглушил смех Савинкова. Он пил поднесенный цыганкой бокал. Ныли цыганки, гитары, настоящими полевыми песнями. До рассветного, петербургского мглистого утра ходил коротенький, ожиревший в отдельных кабинетах цыган легкой

пляской, в такт дрожавшей костлявой цыганке-подростку звенели бубенчики гитар, трепыхались разноцветные ленты.

— Здорово, Борис, а!? жизнь!! — говорил хмелевший Азеф.

— Да, хоть коротка, Иван, да жизнь!!

Выходя в синеве рассвета из ресторана, Савинков с удовольствием глотнул сырой воздух. Швейцар смотрел пристально. Когда за ним пошел грузный Азеф, чуть заметная улыбка скользнула по лицу переодетого швейцаром филера.

5.

На лихаче в мокрой серости, обняв за талию Савинкова, ибо вдвоем было всегда узко на пролетке, они мчались на Стремянную к Хеди де Херо пить утренний кофе. Так летели рассветным туманным Петербургом, когда люди спали, зевали ночные сторожа и только отдельные, редкие фигуры, сжавшись от холода утренника появлялись в подъездах.

— Ты знаешь, про меня распускаются всякие гнусности, — говорил за кофе Азеф, — были какие то полицейские письма, мне противно становится работать среди всей этой сволочи. — Глаза Азефа ушли под брови, обнажились желтоватые белки, на лбу тяжело и сине надулась жила. Азеф делал гнев.

— Какая чепуха! — не вслушиваясь, сказал Савинков.

— А мне это надоело! Гоц с милым видом сообщал мне, что получил письмо, что я провокатор. Чернов хохочет, видите ли, оттого, что Татаров про меня веселенькую историю сочинил, теперь опять какие-то подметные письма, все это стоит нервов. Им смешки, потому что не про них пишут. Я хотел бы, чтоб это было про Чернова. Воображаю, какую бы он бучу поднял, а меня просят успокоиться.

Серый, просторный костюм сидел на Савинкове нарядно. Савинков был бел от выпитого. На закинутой ноге виднелись серебристые, с тонким рисунком в тон костюму, носки и такого же серебристого тона был галстук.

— Брось, Иван, охота тебе, это действительно такие пустяки! — проговорил он.

6

Если б знать, откуда заносится удар? Тогда просто отвести и отомстить ответным ударом. Но сколько на свете невозможнейших гибелей!

Ну, кто б предположил, что в тот хилый петербургский день, когда Азеф на конспиративной квартире генерала Герасимова получал 10 тысяч за план карьеры, именно в этот день в редакцию журнала «Былое» к маленькому, узенькому с седенькой головой редактору Бурцеву вошел курчавоголовый брюнет в значительно более темных, чем у Бурцева, очках.

— Простите, чем могу служить?

Вошедшему было лет 28. Одет, как элегантный петербуржец. Среднего роста. Ничего необыкновенного. Но какое то движение воздуха, флюида какая-то изошла, — отчего приоткрыл рот, выставив два передних зуба, Бурцев.

— Я по личному делу, я вас очень хорошо знаю, Владимир Львович, — произнесли черные очки, при этом полезли в бумажник, вынув фотографию.

— Вот это вы, Владимир Львович, снимок я взял в департаменте полиции.

— В де-пар-та-мен-те? — проговорил, шире выставляя большие, прокуренные зубы, Бурцев.

— Я чиновник особых поручений при охранном отделении. Но по убеждению я эс-эр.

Голова Бурцева наполнилась роем. Никакой уж флюиды уловить не мог.

— Позвольте, зачем вы пришли?

— Я был революционер. Случайно попал в охранное. Теперь пришел снова быть полезным революционному движению. Вы занимаетесь вопросами гигиенического характера, выяснением провокации? Вопрос этот трудный, я его понимаю гораздо лучше, чем вы и хочу быть вам полезен.

Четыре глаза перекрестились.

— Тут есть невязка, — сказал Бурцев. — Вы становитесь революционером, оставаясь на службе в охранном или уходите оттуда, становясь революционером?

— Я именно остаюсь в охранном.

Бурцев сидел распаленный тысячью возможностей, если гость честен, тысячью скверных мыслей, если гость провокатор. Он решил пробовать.

— Ваше имя отчество?

— Михаил Ефимович.

— Прекрасно, Михаил Ефимович, — произнес Бурцев, смотря в сторону, — так что же, может быть, начнем немедленно?

— Извольте-с.

Бурцев подвинулся пискнувшим стулом к столу.

— Меня интересует,—проговорил, снимая очки и протирая глаза малокровными, старческими пальцами Бурцев, — вопрос провокации у эс-эров. Она существует.

Собеседник кивнул курчавой головой.

— Вы разрешите закурить?

Бурцев чиркнул спичку.

— Покорнейше благодарю.

— Но где она, вот как вы думаете? Желая оказать революционному движению услугу, начнем именно с этого. Как чиновник охранного вы, конечно, знаете, что боевая организация в параличе.

— Знаю, да. Но тут, — дымчатые очки задумались.

«Провокатор», — думал Бурцев, — «пришел поймать, завлечь, предать».

— Видите ли, провокация там есть, как везде, но боюсь, позвольте, позвольте, агентуру ведет лично генерал...

— Не скажете ли какой?

— Скажу, конечно: — Герасимов. Позвольте, вспоминаю псевдоним агентуры, кличку, по моему она — «Раскин». Да, да — «Раскин».

В дверь раздался стук. В светлом, веселеньком пальто, в панаме, на тулье с светло-красной лентой, стоял В. М. Чернов.

— Одну минуту, Виктор Михайлович, недовольно проговорил Бурцев. — Я занят, подождите, пожалуйста, в соседней комнате.

Обернувшись к собеседнику, тихо сказал:

— На сегодня давайте кончим. Дайте адрес.

— Главный почтамт. Михайловскому.

— Прекрасно.

Бурцев проводил чиновника особых поручений Бакая до выхода.

Чернов бесцеремонно крепким телом входил из другой двери, прищурив косой глаз, кричал:

— Владимир Львович, в вашей высокополезной работе по разоблачению провокаторов, вы не щадите чистых имен! Руководствуйтесь скверной пословицей! в «Утре России» недвусмысленно намекаете, что и у нас провокатор!?

7

У Владимира Львовича Бурцева вся жизнь с некоторых пор презратилась в нюх. Поэтому он ходил нервно, словно что-то ища носом. После завтрака, идя Английской набережной среди оживленных маем людей, Бурцев был необычайно взволнован. «Раскин», — повторял он, — Центральная провокатура. Раскин. Натансон? Савинков? Брешковская? Ракитников? Чернов? Как он внезапно появился в редакции? Раскин. Кто же?

На углу в беспорядке скопились экипажи. На лаке крыльев пролеток горело весеннее солнце. Людям было весело. Рослый городовой, маша рукой, казалось, весело ругал ломового, запрудившего движение. Бурцев стоял, запахивая пальто.

«Кто это кланяется?», — подумал, глядя на подъехавшую к скоплению пролетку. Господин в темном пальто, цилиндре. Дама в пролетке выше его плечами, очевидно несколько коротконога. Шляпа в белых страсуах, голубоватый костюм. Господин приподнял блестящий цилиндр.

«Азеф». Бурцев обмер. Не ответив, только кивнув, двинулся, ибо скопление прорвалось. Поток карет, колясок, пролеток разносился с набережной. Бурцев видел голубоватый костюм, обвившую его черную руку, черную спину, черный цилиндр.

«Среди бела дня? Глава боевой? По Петербургу? Раскланивается с бегающим от шпиков редактором революционного журнала? Раскин? Азеф? Азеф? Раскин?» — Волнение перешло все границы. Бурцев бежал набережной, бормоча, — «боже мой, боже, глава террора, агент полиции, какой ужас, какой ужас, но... какккая сенннсацияяя!!!...»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

1.

По сложении полномочий руководителей БО, Азеф и Савинков выехали во Францию. Савинков с Ниной и детьми снял квартиру на рю ля Фонтен. Это была первая проба жизни семьи. И Савинков чувствовал много нового, никогда ранее не входившего в жизнь. Вместе с Ниной выбирал мебель, говорил о распределении дня детей, во-время обедал и ложился. После долгого горя, Нина чувствовала, что пришло счастье.

Может быть первый раз в жизни захотелось ей покупать пестрые материи, носить красивые платья. Нравиться окружающим и прежде всего нравиться ему, Борису. Это было потому, что началось счастье. Оно было. Иначе б бледная Нина, с глазами похожими на испуганно-улетающих птиц, не была б так оживлена.

И Савинкову хотелось поддержать счастье. Но чем тише шла жизнь, тем томительней становилось. Рю ля Фонтен одна из спокойных улиц Парижа. Но живя спокойно, Савинков ощущал все большее беспокойство. Росла скука. И неизвестно, что б из этого вышло, если б не родилось желание изложить эту скуку литературно, в форме романа.

Правда, он думал, что тема убийства уж использована Достоевским, но разница была в том, что Достоевский никогда не убивал, а Савинков убивал и Савинкову казалось, что Достоевский не знал многого, что так хорошо знал Савинков. Он знал настоящую тоску, рождающуюся у убивающего людей человека.

На тему этой тоски, на тему плевательной скуки хотел написать роман. Но и это была не вся тема. Савинков хотел обсстрить, героя романа противопоставить, — всему миру. Герой, по замыслу, должен плюнуть в лицо человечеству.

В размеренной жизни на рю ля Фонтен тема захватила с такой остротой, что Савинков чувствовал в себе непрестававший трепет, как бы озноб. Вечерами, гуляя в потемневших Елисейских полях, был уверен, что со славой террориста придет и сплетется и слава художника.

Вести роман он решил от лица героя, сделав его революционером, начавшим убивать и узнавшим, что в сущности, убивать интересный спорт. И вот герой, став усталым спортсменом убийства, плюнет в лицо человечеству.

Савинков не задумывался, почему в мыслях о работе помогали Тютчев и Апокалипсис. Ходил бесконечными кольцами Парижа, переполненный музыкой те-

мы, повторяя лишь: «О чем ты воешь ветр ночной, о чем так сетуешь безумно?!»

Перед письмом, зачитывался Апокалипсисом, находя и здесь музыку подкрепляющую тему. Особенно волновала глава 6-я.

«И вышел конь рыжий и сидящему на нем дано взять мир с земли и чтобы убивали друг друга... Я взглянул и вот конь вороной и на нем всадник имеющий меру в руке своей... Я взглянул и вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть и ад следовал за ним...»

Вспоминая ощущения убийств Савинков решил назвать роман «Конь бледный» или «Конь блед», а герою дать нарочито пошлое имя «Жорж».

2.

Сколько счастья, боже мой, сколько счастья было в хрупких руках Нины! По вечерам даже не верилось. Полно, неужели она живет вместе с ним, Борисом, с детьми? Это казалось мечтой. Только еще немного любви, немного ласки, участия к Нине и разрешения войти во внутренний, прекрасный духовный мир.

Войдя тихо в кабинет, Нина подошла сзади, обняла лысеющую голову Бориса и сказала:

— О чем ты пишешь?

Савинков отбросил перо, улыбнулся монгольскими углями, проговорил, потягиваясь:

— Ты не поймешь.

— Если ты не скажешь, не пойму. Скажи.

— Хорошо. — Савинков улыбается дурно. — Я пишу, Нина, о человеке, убивающем людей из чувства спорта и скуки, о человеке, которому очень тоскливо, у которого нет ничего, ни привязанности, ни любви, для которого жизнь глупый, а может быть гениальный, но ползущий в пустоту глетчер. Ты понимаешь?

«Зачем он так смеется. Ведь это жестоко».

— Я понимаю. Но ты прав, эта работа мне чужда. Я больше люблю твои стихи.

— Но в стихах я пишу о том же? О том, что человек потерял обоняние и запах гнилых яблок принимает за л' ориган? Не различает запахов, — нехорошо смеется Савинков.

«Это он смеется над ней, над Ниной. Он знает ее. Знает, что она сейчас скажет, что думает».

— Что ж твой роман будет автобиографичен?

— Пожалуй. Это тонкое замечание.

— Очень грустно. И в нем не будет ни к кому любви?

— В конечном счете — нет. Хочшь, я прочту тебе единственное место о настоящей любви моего героя? Слушай: — «Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков, палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл, багрово-красный, махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и как пурпур застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий аромат. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил».

«Почему он не чувствует, что это больно? Зачем говорил, что любит? Зачем всегда хочет делать боль, убивать этими ужасными мелочами. Он читает только, чтобы доставить неприятность».

Держа исписанный лист, смотря на Нину, Савинков видел, что она не выдерживает игры.

— Иногда мне кажется, что я напрасно с детьми приехала к тебе, — говорит Нина.

И тихо вышла из кабинета.

3.

— А разве мы не вместе? — вечером говорил Савинков, сидя с Ниной.

— Мы под одной крышей. Если это вместе, то мы вместе. Ведь казалось бы пустое: — расскажи, о чем ты думаешь, что пишешь, ведь ты же ходишь вечерами один и думаешь над работой? Разве многого я хочу, после стольких лет горя? Я хочу части твоей души, твоего внутреннего мира, впусти меня, мне нужно человеческое участие. Ты замыкаешься в себе. Разве такова любовь? Если ты называешь любовью нашу жизнь, то мне такая любовь без слов, без внутреннего чувства ужасна.

Савинкова сердил тон Нины. Не хотелось слушать, но не хотелось и уходить.

— Вот вчера, — говорила Нина, — ты после работы лежал на диване и спал, я вошла и мне показалось, что даже твои закрытые глаза обращены внутрь, в самого себя, что в них может быть мука, но скрытая от меня, мне показалось, что ты совсем чужой и я испытала буквально физическую боль, я чуть не вскрикнула.

— Какая ерунда, — пробормотал Савинков, — и какая тяжесть. Так нельзя жить. Ты хочешь того, что я не могу тебе дать и что ты может быть даже сама не возьмешь.

Савинков, говоря, глядел на Нину, думал — «как она постарела». Савинков боялся слез.

— Зачем же тогда ты вывез меня? — проговорила Нина. — Неужели затем, чтобы я здесь в Париже испытала еще раз свое одиночество? И убедилась, что ты не только меня не любишь, как я хочу, но что я тебе совсем чужая? Ведь ты же мучишь меня, ты убиваешь.

— Чем я убиваю, скажи, ради бога? — раздраженно вставая, проговорил Савинков.

— Муж и жена, Борис, могут быть счастливы, когда меж ними нет недоговоренного. А между мной

и тобой — глухая стена. И ты убиваешь тем, что не хочешь вскрыть ее, словно тебе это будет мешать. А мне... — голос Нины дрогнул, она собралась с силами, выговорив. — Зачем же тогда говорить о любви? Ее нет. А может быть никогда и не было. Я знала, что ты живешь необычной, тяжелой жизнью, я мирилась. Я ждала. Но чего же я дождалась? Вот я пришла к тебе, как девочка, опять думала, наконец, будет счастье. Оказалось мы друг другу стали чужды. У тебя для меня нет даже слов. При любви такого одиночества, Борис, не испытывают. Ведь я совсем одна...

Савинков сидел молча. Ему было даже скучно. Он знал, что в романе будет подобная глава несчастной любви. Он только удивлялся, что Нина тонко и верно говорит. Не подозревал.

— А то, что ты считаешь любовью, это для меня ужас, Борис. Ведь я знаю, что за порогом моей комнаты всякая связь со мной прекращается. Ты ушел и я вычеркиваюсь из сознания. Я тебе больше ненужна. Это позорно, это ужасно, Борис. Меж нами нет и не было того духовного зараженья, которое у любящего мужчины превращается в благодарное и любовное отношение к женщине. У тебя это исключено. Ты — один. Ты хочешь быть один. Твоя любовь — сухая обязанность. Но ведь есть женщины интереснее меня, которым ничего другого и не требуется?

Савинков сидел, не меняя позы. Сейчас он взглянул на Нину, внезапное злобное чувство, как к страшной тяжести, охватило его.

— Вот этого, самого важного женщине, как я теперь лишь поняла, у нас с тобой, Борис, нет и никогда не было. Ты не будешь возражать. Именно поэтому я была несчастна, а не потому, что много приходилось страдать. Ведь когда ты обращаешься ко мне, делишься мыслями, я знаю, что это ничем не отличается от разговора с твоими товарищами. Моя мысль ничего тебе не прибавит, ничего не отнимет. Ты не видишь, не хочешь замечать моей жизни. Даже в мелочах, когда мы идем с тобой улицей, здесь, в Париже, ты ни-

когда не возьмешь меня под руку. Ведь я бы не выдернула руки. Может быть, я была бы даже счастлива. В отсутствии этого жеста я чувствую, как ни в чем твою отчужденность. Ты хочешь итти один, быть один. Так зачем же тебе я?

— Может быть многое, что ты говоришь, верно, — проговорил Савинков холодно. — Но если ты хочешь меня в чем-то обвинять, то вины я не чувствую. Я не могу очевидно тебе дать того, что тебе надо. Тебе нужно, собственно, мещанское счастье покойного житья-бытья Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной!

— Неправда! — вскрикнула Нина, не сдерживая слез. — Я хочу искренности! А ты ее не даешь... — и убитая, Нина зарыдала.

Савинков вышел из кабинета. Накинул пальто, надел котелок и, легко ступая, спускался по лестнице. Он ехал на скачки в Лонгшамп и не любил опаздывать.

4.

Нина сидела в угловой комнате. Был сумрак. В окно виднелся красный край падавшего за церковь солнца. Очевидно к вечерне в церковь шли люди. Нина смотрела на них и думала: — счастливы ли они, ну вот та дама, что идет под руку с мужчиной в кеппи? Он ее крепко держит, что-то говорит. Нина старалась скрыть, как завидует встречным на улице, по виду счастливым людям.

Ей казалось с девичества, что полна она вся какимто неизжитым, необычайным чувством и настанет момент, она отдаст себя всю этому чувству, будет держать в руках счастье любимого единственного человека. Этот момент, казалось, наступил, когда в квартиру к ним вошел Савинков. Нина шла навстречу любви, но в любовь вплелась странная темнота, в которой не выговаривалось настоящее, темнота ширилась и покрыла все чувство. Пришли дети, страхи, боязни, го-

ре, одиночество, вся гордость, страсть растоптались. А жизнь стала уходить. И вот, Нина, словно вчера отворившая дверь студенту Савинкову, выброшена и никому ненужна. Ведь жизнь же не начиналась еще, а уж кончилась и другой нет. Нина чувствовала в сумерках отчаяние и рыдала.

5.

Савинков становился молчаливей. Ночами не приезжал. Мало говорил. В это утро Нина не узнала себя. Она прошла быстро в комнату, еще слыша голоса Тани и Вити, которых уводила мадемуазель. Нина прошла, словно в комнате забыла что-то важное. Но войдя остановилась, сжала руки, потом схватилась за голову и почувствовала жутко и остро необходимость порвать невыносимую жизнь.

Все словно от пустяка. Оттого что вчера не отвечал на вопросы. А когда Нина заплакала, встал, уехал и не вернулся на ночь.

«Должна, должна», — простонала Нина и почудилось, что ворот душит. Нина расстегнула платье. От внезапного узнания, что она действительно уйдет, стулья с гнутыми ручками - головами львов, которые вместе выбирали, темнокрасные портьеры, кресла, зеркала, показалось все сразу чуждым, словно Нина вошла в незнакомую квартиру.

«Боже мой, боже мой», — повторяла она, ощущая тяжелую притупленность чувств. Словно руки, ноги, вся она была в то же время не она. Вспомнилось: когда пришла мебель, как распаковывали, развертывали бумагу, как смеялся Борис. Нина, рыдая, упала на диван — «боже мой, как любим, как близок, о, как ненавижу Париж, товарищей, все разбившее счастье».

Нина видела, как сейчас, новенькую студенческую шинель, фуражку, он был иным, сильным юностью. Все ушло, даже выраженье лица, став жестоким и надменным. И вот такой, неласковый, он приходил к ней,

она отдавала ему тело, а душа замирала от ужаса, голова была холодна и той любви, которой хотела, не было, не было. «Я не виню», — шептала Нина, — «я ошиблась всей жизнью».

6.

Нина ждала Савинкова, чтобы сказать об отъезде. Она представляла лицо и слова. Внутренно знала, как все будет. Наступила ночь. Но Савинков не возвращался. Он спал в грязном отеле «Бретань» на рю ля Прянс с темнокожей девчонкой, которой на вид было восемнадцать лет. Нина не спала. Под утро она почувствовала себя оскорбленной и разбитой. Он приехал небритый, усталый, с запахом вина. И все было так, как Нина знала.

Он стоял у стола и слушал, смотря в сторону. Он тоже знал, что этот день наступит. Но у него не было сил смотреть в лицо. Он боялся слез. Был еще странный, почти необъяснимый стыд. Разговор был короток, сух, поэтому мучителен.

— Мне б не хотелось одного, — сказал он, когда Нина хотела выйти, — чтоб у детей осталось к отцу чувство неприязни.

Нина остановилась.

— Деньги я буду высылать на русско-азиатский банк...

Горько улыбнувшись, Нина пошла, чтоб не разрыдаться при нем. Он ждал с нетерпением, когда она выйдет. И с удовлетворением слушал удалявшийся по коридору шелест.

7.

В квартире настал тот ужасный момент, когда она стала разоренной. Нина была молчалива. Беспричинно часто со слезами целовала детей. Дети были веселы, они хотели ехать. Пришедшая проститься мадему-

азель, смеясь, лопотала с ними. Четырехместное извозчичье ландо уж подъехало к дому. Последний раз Нина, из ландо, взглянула на окна. В окнах никого не было. Нина, не в силах сдерживаться, зарыдала. И дети не умели успокоить мать. Дети думали, что она плачет оттого, что долго не увидит отца. Она же плакал потому, что не увидит его никогда.

8.

Савинков был увлечен романом. Он работал над самым ответственным местом, вырисовывая героя и фон романа так: — «Мне скучно жить. Однозвучно тянутся дни, недели, года. Сегодня, как завтра, и вчера, как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица: дома, старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы.

Вот театр марионеток. Взвился занавес, мы на сцене. Бледный Пьеро полюбил Пьеретту. Он клянется в вечной любви. У Пьеретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь — красный, клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй: — охота на человека. Он — в шляпе с петушьим пером, адмирал швейцарского флота. Мы — в красных плащах и масках. С нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабинеры. Не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках — картонные шпаги. Они пьют, целуют, потом иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш.

Браво. Раек и партер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют в ящик. Нитки спутались. Где адмирал Ринальдо, влюбленный Пьеро — кто разберет? Покойной ночи. До завтра.

Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, генерал-губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабинеры. Льется кровь. Через неделю опять: адмирал, Пьеро, Пьеретта. И льется кровь — клюквенный сок.

И люди ищут здесь смысла? И я ищу звеньев цепи? Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно?

Мне скучно. Дни опять побегут за днями. Завизжит за сценой шарманка, спасется бегством Пьеро. Приходите. Открыт балаган».

В квартиру Савинкова стучал взволнованный, седовласый патриарх партии, каторжанин Осип Минор. Он ударял тростью в дверь. Он был возбужден. И так как дверь все молчала, Минор не отпускал еще и ручки звонка упершейся в пасть львенка. Наконец он услышал шаги. На пороге стоял Савинков.

— Что до вас не дозвонишься, Борис Викторович! Возмутительнейшая история! — закричал Минор. — Чорт знает, что такое! — с порога заковылял старыми ногами по паркету, блестя лысиной, вея разлохмаченными кудельками. — Воз-му-ти-тель-ней-шая!

Савинков был во власти романа, не обращая вниманья на Минора, вел его в кабинет.

— Посудите! Это же ходит по всей колонии!

— Успокойтесь, Осип Соломонович, хотите папиросу?

Дрожавшими, к концам подагрическими, пальцами Минор захватывал папиросу. — Да как же, сию минуту на рю Ломонд около библиотеки встречаю Бурцева, он с места в карьер заявляет, а знаете говорит, Осип Соломонович, что один из членов вашего ЦК агент полиции? Я глаза выпучил, он ничтожа сумняшеся так и брякает:—все, говорит, материалы налицо, я обвиняю члена ЦК Азефа в провокации!

— Бурцев осмеливается обвинять Азефа в провокации? — безразлично проговорил Савинков, уста-

вясь узостью горячих глаз. Савинков не мог еще освободиться от власти романа.

— Да, что вы словно это вас не касается! Про что я говорю! Бурцев трещит по всему Парижу! Я его спрашиваю, позвольте, говорю, да хорошо ли вы знаете роль Азефа в революционном движении? Начинаю рассказывать, он руками машет, я говорит это лучше вас знаю! Азеф платный чиновник генерала Герасимова!

— То есть, это серьезно? — приходя в себя проговорил Савинков. — Бурцев осмеливается? Я потребую немедленного удовлетворения.

— Дело тут вовсе не в вашем удовлетворении! Должен быть немедленный суд над Бурцевым! Ведь слухи идут о члене ЦК! О руководителе БО! вы понимаете, какую дезорганизацию это несет??!! — кудельки Минора торчали смешными седыми треугольниками.

— Какая низость, — проговорил Савинков, — обвинять Азефа, десять лет ходившего с веревкой на шее, творца террора? Какая низость!

— Да дело даже не в низости! Бурцев попал в ловушку охранного отделения, он не расстается с каким-то охранником Бакаем, ну и этот охранник ясно подослан дискредитировать партию.

— Но Бурцев не ребенок?

На столе зазвенел телефон.

— Алло!.. здравствуйте... что? — Савинков долго молчал, в трубке метался кричащий голос, когда метанье оборвалось, Савинков проговорил. — У меня Осип Соломонович, он рассказал тоже самое. Бурцев с ума сошел и надо его вылечить... что?.. вот именно... послезавтра?.. прекрасно, прощайте, Виктор Михайлович!

— Виктор?

— Да, у него Натансон, Аргунов, Потапов, весь ЦК, оказывается Бурцев заявил, что выступит в прессе, если партия не назначит расследования. Это чорт знает что, Бурцев маньяк!

— Надо сейчас же написать Азефу, сейчас же напишите, у вас есть его адрес? — взволновался Минор.

— Я напишу.

— Пишите сейчас же, успокойте, что мы примем все меры.

Когда Минор ушел, Савинков постоял у письменного стола, подумал, отложил рукопись романа и сел за письмо.

9.

Заседание членов ЦК и кооптированных членов партии было многолюдно. Возмущены были все. Но такого гнева, каким полон был Виктор Чернов, ни у кого не было. Чернов стоял с потемневшими глазами, он был решителен, словно сейчас пойдет на распятие.

— Товарищи, — проговорил он негромко, — мы стоим перед делом величайшей важности. Товарищ, которому партия обязана многим, чересчур многим, если не всем, обвинен в предательстве! Господин Бурцев не стесняется в преступной лжи делать даже следующее заявление. Я оглашаю: — «В ЦК партии с. р. Уже более года, как в разговорах с некоторыми деятелями партии с. р. я указывал, как на главную причину арестов, происходящих во все время существования партии, на присутствие в центральном комитете инженера Азефа, которого я обвиняю в самом злостном провокаторстве, небывалом в летописях русского освободительного движения. Последние петербургские казни не позволяют мне более ограничиваться бесплодными попытками убедить вас в ужасающей роли Азефа и я переношу этот вопрос в литературу и обращаюсь к суду общественного мнения. Я давно уж просил ЦК вызвать меня к третейскому суду по делу Азефа, но события происходят в настоящее время в России ужасающие, кровавые и я не могу ограничиться ожиданием разбора дела в третейском суде, который может затянуться надолго и гласно за своей подписью беру на

себя страшную ответственность обвинения в провокаторстве одного из самых видных деятелей партии с. р.»

Чернов перевел дух, гневно сжав брови проговорил:

— Есть еще и достаточно подлая приписка, товарищи, я оглашаю и ее, господин Бурцев пишет: — «Разумеется это заявление не должно быть известно Азефу и тем, кто ему может о нем передать».

В зале раздался возмущенный ропот. Кто-то, сжав кулаки, ругался, вскочив с места. Чернов закричал, покрывая всех тенором. — Товарищи, тишина! — и в наступившую тишину отрывисто бросил:

— Предлагаю, в ответ на заявление господина Бурцева, учредить суд над ним, над Бурцевым, который докажет его гнусную клевету на товарища Ивана! — гром аплодисментов прервал его. — А на приписку предлагаю ответить так: — «Азеф и партия одно и то же. От Азефа нет секретов у партии и потому мы вам возвращаем господин Бурцев вашу прокламацию, действуйте, как хотите!»

И снова, — гром аплодисментов. Чернов опустился на стул, поправляя волосы и отирая платком рот. Глаза его метали молнии.

10.

Возвратясь с заседания, Савинков нашел ответное письмо Азефа: — «Дорогой мой! Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой... Ты пишешь о суде. Я не вижу выхода из создавшегося положения помимо суда. Не совсем понимаю твою мысль, что мы ничего не выиграем. Неужели и после разбора критики и опровержения «фактов», Бурцев еще может стоять на своем? Мне кажется, дорогой мой, ты слишком преувеличиваешь то впечатление, которое может получиться оттого, что выложит Бурцев.

Виктор пишет, что Бурцев припас какой-то ультросенсационный «материал», который пока держит в тайне, расчитывая поразить суд, но то, что я знаю, действительно не выдерживает никакой критики и всякий нормальный ум должен крикнуть: — «Купайся сам в грязи, но не пачкай других!» — Я думаю, что все, что он держит в тайне не лучшего достоинства. Суд сумеет положить конец этой грязной клевете. По крайней мере, если Бурцев и будет кричать, то он останется единственным маньяком. Конечно, мы унизились, идя на суд с Бурцевым. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится и унижаться. Мне кажется молчать нельзя; ты забываешь размеры огласки. Но если вы там найдете возможным наплевать, то готов плюнуть и я вместе с вами, если это, конечно, уже не поздно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому готов отступиться от своего мнения и отказаться от суда.

Мне хотелось только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся насколько возможно меня избавить от этого. Обнимаю и целую тебя крепко.

Твой *Иван*».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

1.

Суд над Бурцевым состоялся в тяжелый день, в понедельник. Ровно в девять утра к квартире Савинкова на рю ля Фонтен подъехала четырехместная извозчичья коляска. Из нее вылезли, похожие на апостолов, два старика, с седыми бородами и строгая пожилая женщина. Это были ветераны русской революции: — князь П. А. Кропоткин и шлиссельбуржцы: Г. А. Ло-

патин и В. Н. Фигнер. Не разговаривая, один за другим, они поднимались лестницей.

В передней Савинков хотел помочь Кропоткину снять пальто. Но, отстраняя его, Кропоткин, смеясь, проговорил:

— Человек должен уметь все сам делать, Борис Викторович.

Кропоткин был невысок, строен, по военному выправлен. Красивую голову в седой бороде держал откинув, сквозь очки смотрели юношеские глаза, как бы приглашая заглянуть в душу, где все ясно и чисто. Лопатин бурно сбросил пальто, посмеялся с Савинковым. Фигнер была суха и молчалива.

Садясь в кабинете, все заговорили о постороннем, как доктора перед входом к пациенту.

— Хорошая квартира у вас, Борис Викторович, прелесть и невысоко. Что платите? — покачивался в качалке Лопатин.

Кропоткин вынул простую луковицу часов, посмотрел.

— Как здоровье жены, Петр Алексеевич? — проговорила Фигнер.

— Благодарю, Вера Николаевна, ничего. Инфлуэнца.

В дверях кабинета столкнулись Чернов и Бурцев. Чернов вошел первым, не глядя на Бурцева, и даже как бы отпихнув его. За Бурцевым вошел плотный розовый, белобородый Натансон, на лысом упрямом черепе была толстая жила.

На середину выдвинули стол. На нем чернильницы, перья, бумага, карандаши. Три стула — для судей — за которые сели: — посредине председателем П. А. Кропоткин, справа Лопатин, слева Фигнер. От судей направо — обвиняемый в клевете Бурцев. Налево — обвинители от партии — Чернов, Савинков, Натансон.

Полчаса десятого, разглаживая седую бороду, тихо кашлянув, Кропоткин проговорил:

— Разрешите считать заседание суда по обвинению В. Л. Бурцева партией социалистов-революционеров в клевете на члена партии Евгения Филипповича Азефа — открытым. Слово предоставляется обвинителю от партии В. М. Чернову.

Бурцев сидел за ломберным столом, раскладывая бумажки, документы, записки. Казалось, он не видел окружающих. Когда, задумавшись, приподнимал голову с приоткрытым ртом, были видны большие, прокуренные зубы. Глядел он в стену, быстро отрывался, снова в порядке раскладывая записки, бумажки, документы.

Савинков чувствовал внутри холодноватую, сжимавшуюся спираль, сосущую, неприятную. Чернов, все время совещавшийся с Натансоном и не обращавший вниманья на Савинкова, после слов Кропоткина, встал.

— Товарищи судьи, — проговорил он громко. — Я просил бы разрешить обвинению задать господину Бурцеву совершенно необходимый для дальнейшего ведения суда вопрос.

— Пожалуйста, — бесстрастно проговорил Кропоткин. Несмотря на невысокий рост, Кропоткин казался величественным. Оглядывая судей, Савинков думал: «Лучшего не выбрать: ветераны революции и во главе благороднейший анархист, с мировым именем».

— Я хочу задать господину Бурцеву, — говорил распевной скороговоркой Чернов. Он был очень непохож на Кропоткина. — Такой вопрос. Дает ли он слово прекратить клеветническую кампанию против Азефа в случае, если суд признает его виновность.

Лица трех судей обернулись к Бурцеву. Бурцев маленький, узенький, с седенькой головой нервно встал.

— Если суд признает мои обвинения Азефа недоказанными, а я останусь при прежнем убеждении, что Азеф провокатор, то все же я буду бороться с ним. Но, если хотите, тогда при каждом выступлении против Азефа я буду упоминать, что суд высказался про-

тив меня. К тому же предоставляю партии эс-эров право реагировать на мою дальнейшую агитацию всеми способами, вплоть до убийства.

Лица трех судей повернулись от Бурцева к Чернову.

— Ах, так! Такой компромисс, вот именно с упоминаньицем «вплоть до убийства» для нас приемлем.

Чернов откашлялся и начал речь. Эта речь отличалась от его обычных выступлений. Она скудно была украшена пословицами, поговорками. Оратор забывал от взволнованности. Он говорил о биографии Азефа, затем об Азефе, как создателе партии с. р. и главном ее руководителе, об Азефе, как о главе БО, о том, как Азеф убил Плеве, как убил Сергея и как совсем недавно перед тем, как отказаться от главенства в БО, Азеф подготовлял убийство царя на «Рюрике» и как исполнитель плана, матрос Авдеев, уже стоял с револьвером в кармане перед царем, смотря ему в лицо и, не зная почему, не выстрелил.

— Так неужели ж, товарищи, — кричал Чернов, в полном негодовании, встряхивая рыжей шевелюрой. — даже зная только этот факт готового цареубийства, нанесения удара самодержавию в самый «центр центров», несовершенного благодаря случайности и без вины Азефа, неужели этого одного недостаточно, чтобы видеть какая ужасная, какая гнусная клевета возводится Бурцевым на большого революционера! Когда, скажите мне, когда были в истории провокаторы, убивашие министров, великих князей, подготовлявшие цареубийство? Разве не видна здесь бессмысленность, низость, весь ужас обвинений Азефа?!

Лопатин перевел с Чернова удивленный взгляд на Бурцева. Одновременно с ним на Бурцева с сожалением смотрела Фигнер. Натансон ненавистно глядел на седенького старичка. Савинков, захваченный речью Чернова, был возбужден, не скрывая негодованья в жестах.

Кропоткин был бесстрастно спокоен.

Бурцев сидел, словно никаких новостей не было в криках Чернова. А он кричал распевным великорусским говором все резче, все сильней. Теперь говорил о том, как царское правительство давно старалось скомпрометировать опаснейшего правительству врага Азефа, подсылая в партию письма, о том, что наконец департаменту полиции удалось осуществить это при посредстве Бурцева.

— Этот тайный, гнусный поход на товарища, на друга был начат задолго до вас, господин Бурцев! Еще в 1903 году было брошено первое подозрение на Азефа и тогда же суд из литераторов Пешехонова и Гуковского принужден был извиниться перед Азефом и признать все обвинения вздором. Но надо было видеть товарища, стоявшего во главе террора, как тяжело он переносил эти гнусности, которые незаслуженно бросали в лицо тому, кто вел партию к славе! Да, Азеф плакал тогда, плакал на моих глазах как ребенок! И мы утешали его, уверяя, что такие тернии в борьбе с царизмом есть и будут у всякого террориста, ибо эта борьба не на живот, а на смерть! И вот опять: — один из членов партии получил письмо явно полицейского происхождения, на которое, разумеется, мы не обратили внимания. За ним — предатель Татаров оговаривает лучшего, светлого борца партии на пути к революции! Но с Татаровым за это партия расчиталась, доказав, что предатели к сожалению в партии есть, но это не Азеф, а — Татаров. И он нами убит!

Снова судьи повернули три лица к Бурцеву. Приоткрыв рот, выставив два зуба, Бурцев слушал Чернова. Ничего нельзя было разобрать в его лице.

На третьем часу Чернов только что разошелся. Еще орнаментальнее, плавнее, даже красивее вырезал он словесные коньки, наличники, украшения. На четвертом часу перешел к характеристике Азефа, как человека и семьянина.

— Господа, попавшие в сети охранников, не гнушаются даже тем, что одним из доказательств провокации, так сказать, «подкрепляющим» приводят наруж-

ность Азефа и манеру его обращения с людьми! Да, скажу я, Иван часто производил первое неприятное впечатление на людей. Но ведь он же не институточка, не этуаль какая-нибудь, чтоб чаровать зрение господ с ним встречающихся! И тут да позволено будет, есть такая пословица: «Не цени собаку по шерсти»! Но все, кто только ближе узнавал Азефа, начинали его любить самой нежной привязанностью как друга, как брата. Надо только хорошенько всмотреться в это открытое лицо и в его чистых детских глазах нельзя не увидеть бесконечной доброты, а увидев его в кругу семьи и товарищей, нельзя не полюбить этого действительно доброго человека и нежного семьянина. — Тут судьи увидели, что Бурцев записывает слова Чернова. — И вот чуткого, доброго человека, безупречного семьянина,отважного борца с самодержавием, вписавшего лучшие страницы в историю русской революционной борьбы, осмеливаются клеймить самым гнусным, самым беззастенчивым образом господа, либо просто ищущие сенсаций, либо ставшие странными жертвами департамента полиции!

Чернов повернулся к Бурцеву и проговорил целый час. На пятом часу он,отирая платком лицо, рот и руки, сел.

Встал Савинков.

— Товарищи! — проговорил он тихо.

«Опять театр для себя» — подумал Чернов, осматривая Савинкова.

— Товарищи, — повторил Савинков.

Чернов недовольно завозился.

— Я друг Азефа и может быть моя дружба с ним интимнее отношений всех остальных товарищей, ибо наша дружба спаяна и смочена кровью. Не день и не год мы жили с Азефом. Мы жили годы. И шли сквозь кровь, убивая многих во имя революции и теряя по кровавому пути многих любимых и дорогих. И вот лучшему другу, отважнейшему борцу, главе террора брошено грязное обвинение! Я рассматриваю это, как обвинение всей БО и мне всего больней гово-

рить об этом, ибо я противник даже всякого разбирательства деятельности Азефа. Он выше подозрений. Но теперь я вынужден и буду говорить об Азефе, как террорист, как брат по духу и крови. Разрешите же сначала сделать мне сухой перечень славных дел, произведенных Азефом! Я начинаю: — он знал о покушении на харьковского губернатора Оболенского, он подготовлял убийство уфимского губернатора Богдановича, он руководил всей работой БО с 1903 года! он поставил убийство Плеве, он поставил убийство Сергея, он ставил покушение на генерала Трепова, на киевского генерал-губернатора Клейгельса, нижегородского барона Унтербергера, он ставил покушение на московского генерал-губернатора Дубасова, на министра внутренних дел Дурново, на генерала Мина, на заведующего политическим розыском Рачковского, дабы убить его вместе с предателем Гапоном, при чем Гапон был убит, он ставил покушение на адмирала Чухнина, он покушался на премьер-министра Столыпина, он санкционировал и послал исполнителей убить провокатора Татарова, он ставил покушение на генерала фон дер Лауница, на прокурора Павлова, он ставил покушение на великого князя Николая Николаевича и, наконец, на царя Николая II. Сколько отдано крови и сколько пролито крови тиранов, вы знаете сами! И неужто ж теперь мы бросим грязью в того, кто был душой и гильотиной этих славных дел?!

Чернов смотрел на фигуру Савинкова с неудовольствием. Савинков стоял чересчур бледный. Узкие монгольские глаза горели углями. Румянец выступил пятнами на продолговатом бледном лице. Вся фигура в черном, двубортном, ловко сидящем костюме была убедительна и красива.

— Я знаю Азефа так, как его никто не знает! Я люблю его как брата, и никогда не поверю никаким подозрениям в силу их полной, конечно, бессмысленности! Я знаю Азефа, как человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта! Я видел его неуклонную последова-

тельность в революционном действе, его спокойное мужество террориста, наконец его глубокую нежность к семье. В моих глазах это даровитый, твердый, решительный человек, которому нет у нас равного. И вот я обращаюсь к вам, Владимир Львович! — Савинков повернулся к Бурцеву и, жестикулируя правой рукой, проговорил с пафосом:

— Вместо необоснованных обвинений, пятнающих имя великого революционера и вносящих страшную дезорганизацию в святое дело террора и революции, вместо обвинений я призываю вас, как историка революционного движения, сказать: — есть ли в истории русского освободительного движения и в освободительном движении всех стран более блестящее имя революционера, чем имя Азефа?!

Бурцев нервно встал.

— Нет! Я не знаю в русском революционном движении ни одного более блестящего имени, чем имя Азефа, — проговорил он. — Его имя и деятельность более блестящи, чем имена и деятельность Желябова, Сазонова, Гершуни, но только под условием если он честный революционер. Я же убежден, что он негодяй и агент полиции!!

— Гадость! Мерзавец!! — бросившись с мест, закричали Натансон и Чернов.

Бесстрастный П. А. Кропоткин зазвонил в колокольчик и встав проговорил:

— Объявляю перерыв на два часа. После перерыва слово будет предоставлено Владимиру Львовичу Бурцеву.

2.

В Париже серой сеткой шел дождь. В Пиренеях же на веранде отеля «Этуаль», в испанском курорте Баганьер де Бьорре играло ослепительное солнце. Под солнцем весь в белом хохотал Азеф.

Хеди свежая, в легком платье цвета лепестка желтой розы, рассказывала о подруге, любовнице банкира.

— Das ist wahr, das ist wahr, — смеясь повторяла она, — Er zieht sich ganz nackt aus und bittet sie auf ihn heisse Kartoffeln zu schmeissen.

— Горячим картофелем? — хохотал Азеф. — И она кидает?

— Aber natürlich! Sie bekommt Geld dafür, das ist so eine Perversität.

Представляя голого банкира, в которого бьют горячим картофелем Азеф не мог сдержать визгливого, дребезжащего хохота.

— Ist es möglich!? — отирая платком лоб, говорил он.

Лакей испанец, словно из гутаперчи, колеблясь с подносом, поднес печенье, кофе и ликеры. Хеди, отодвинув кофейную машину, писала матери открытку с голубым видом Пиринеев. Почерк розовоотделанных рук был плохого качества: «Милая мама. Здесь чудно хорошо. Я купаюсь с Гансом каждый день. Вчера мы удили рыбу. Я поймала 5 штук. Я сидела в лодке. Солнце печет невероятно. Твоя Хедвиг.»

Розовоотделанными пальцами, которым завидовала не одна кокотка, Хеди придвинула машинку и кофе брызнуло в чашку горячей струей.

В небесно-голубой куртке, широких штанах, украшенный золотенькими пуговичками, позументиками, профессиональной походкой на веранду выбежал бой, по черноте похожий на арапченка, и побежал к Азефу с круглым подносом.

Порывшись в заднем кармане теннисных брюк, Азеф бросил на поднос звонкую мелочь. Конверт был от Любови Григорьевны. Но разрывая его, Азеф увидал вложенный листок и, взглянув на подпись, прочел: — «Искренне преданный Аргунов». Азеф пробежал глазами по строкам жены: — «Дорогой мой Ваня! Пока что обстоятельства не привели ни к чему хорошему. Бурцев стоит на своем подлом утверждении.

И, как я узнала, сообщил какой-то «сенсационный материал», который ему будто бы передал какой-то важный сановник. Я слышала, что проверять этот «материал» в Петербург тайно посылается кто-то из ЦК.» (Азеф побелел — это было новостью).

— Я пойду, Генсхен, — сказала Хеди, — приходи в сад. — Стала спускаться залитой солнцем широкой террасой к пестроте азалий, олеандров и агав.

«Сегодня у меня был Аргунов, он говорил, что едет в Петербург на работу. Я его спрашивала, что он ли тот товарищ, который посылается в Петербург для проверки какого-то бурцевского материала, но он категорически отказывался. Но это конечно он. Что это может быть за подлый материал, я не представляю . Аргунов настроен по отношению к тебе очень хорошо. Просил и меня не волноваться, он верит, что все кончится в твою пользу и бурцевская клевета будет доказана. Прилагаю тебе его записку, завтра все узнаю подробнее и напишу. Виктор и Борис произнесли большие речи. О докладе Бурцева еще не знаю, напишу подробно. Целую крепко, будь здоров и не расстраивайся, мой дорогой, любимый. Твоя Люба».

На клочке бумажки стояло: — «Дорогой Иван Николаевич! Если б вы знали, как мы все вообще и я в частности за вас страдаем, что вы там один, в глуши принуждены переживать все эти грязные толки и отвратительную процедуру судебного разбирательства. Я по делам еду в Петербург. Шлю вам перед отъездом свой привет, будьте бодры, сильны, мы уверены, что в самом ближайшем времени снова вместе приступим к общей работе. Искренне преданный Аргунов».

Азеф не улыбался. Он сидел белый, словно сифилисным параличем было перекошено лицо.

— Hans! Hänschen! — кричала Хеди из-за олеандр, — komm doch hierher! Hier ist wunderschön!

Грузно, тяжело выпрастывая толстый живот из-под стола, отодвигая плетеное кресло, Азеф поднялся. «Сановник?» Это в расчет не входило. Это — удар. Он хохотал в Пиринеях, уверенный, что Борис и

Виктор сорвут красноречием шаткие данные Бурцева, которые можно выворачивать так и эдак. Но — «сановник?!» Азеф холодел.

— Hänschen! — кричала Хеди, — komm doch!!

«Надо ехать, иначе — провал», — бормотал Азеф. Сделав подобие улыбки, он подошел к Хеди. Обнял ее за талию, так они шли аллеей агав и олеандров. Это было некрасиво. Потому что Хеди была стройна, а он толст и уродлив.

Хеди не понимала, зачем в чудную погоду прерывать купанье, ловлю рыбы, ласки. Но папочка мог потерять на бирже. И уж закладывали, торопясь, испанцы высокий, парный кабриолет.

3.

На этот раз председательствовал шлиссельбуржец Герман Лопатин. Чернов казался опухшим и покрасневшим. Натансон бледен меловой бледностью невыспавшегося человека. Савинков нервен. Спокойны были лишь судьи.

— Ваше слово, Владимир Львович, — проговорил Лопатин.

Бурцев встал, поправил очки, откашлялся.

— Я убежден в том, — начал он, — что провокация является главной опорой существующего полицейского строя. Если бы революционерам удалось разбить эту цитадель самодержавия, то неизвестно удержалось ли бы самодержавие вообще. Самодержавие держится провокацией. Это мое глубокое убеждение. И, исповедуя эту истину, я посвятил свои малые силы борьбе именно с этим злом: — с провокаторами. Но в силу многих причин, зачастую психологических, дело это чрезвычайно трудное. И вести его приходится с величайшей осторожностью. Вот именно с такой величайшей осторожностью начал я расследование моих подозрений Азефа.

В том, что в партии с. р. есть центральная провокатура я был убежден давно. В этом убеждены и члены партии. За то говорили многие события и прежде всего полный паралич террора. Что провокатор этот работает в департаменте под псевдонимом «Раскин» установил М. Е. Бакай. С этого момента все мои силы напряглись к одному: — выяснить, кто из членов партии скрывается под псевдонимом сотрудника «Раскина». Это было нелегко, длилось долго. Не буду рассказывать, сколько пришлось положить труда, чтобы систематизировать все относящееся к неизвестному «Раскину». Эта работа проделана мной и Бакаем. Все собранные, тщательно выверенные факты, указывали с безусловной очевидностью, что «Раскин» — Азеф. Но я никому во время работы не выговорил этой фамилии. Только, когда не было уже никаких сомнений, я решил сделать последнюю проверку через Бакая. Я попросил Бакая рассказать, что ему известно по службе в охранном о Чернове и Савинкове. Он рассказал. Сказал, что часто видел их карточки. Карточки охранным рассылались по провинции. Тогда, как бы невзначай, я спросил: — а что знаете об Азефе? Бакай ответил, что Азефа совсем не знает. Как же так, сказал я, это видный эс-эр? Бакай сказал, что никогда даже не слыхал об Азефе. — Позвольте, говорю, ведь это же глава боевой организации? — Невероятно, — ответил Бакай, — мне не знать главу боевой организации, все равно, что не знать директора департамента полиции. И тут я впервые выговорил фамилию Азефа, как подозреваемого «Раскина». — Если таковой существует, — ответил Бакай, — если он друг Чернова и Савинкова, глава боевой и о нем у нас ничего неизвестно, его не разыскивают, карточек не рассылают, значит он «подметка», то есть сотрудник.

Вот когда впервые я назвал фамилию Азефа. В России лилась кровь революционеров, посылаемых Азефом на казнь. Я во всеоружии данных обратился в ЦК партии, заявив о подозрении. Но этот шаг ока-

зался совершенно бесплодным. В течение года добивался я расследования ЦК моих подозрений Азефа. ЦК, либо отмалчивался, либо отказывался от расследования.

Но время шло. Азеф губил людей. А я напрасно добивался у ЦК расследования дела. Когда же совсем недавно я прочел — Бурцев повернулся в сторону Чернова и Савинкова, — что в Петербурге опять повешены террористы Зильберберг, Сулятицкий, Никитенко, Синявский, Лебединцев, Трауберг, Синегуб, будучи убежден, что их отослал на виселицу Азеф...

— Гнусная ложь! — закричал Чернов.

...Я заявил ЦК, что теперь уж выступаю в прессе, ибо необращение партией вниманья на обвинения Азефа равносильно посылке на виселицу молодых, самоотверженных революционеров. Я не мог молчать. И вот мы дошли до суда, но не над Азефом, а надо мной. Но теперь и я обвиняю не только Азефа. Я обвиняю партию в злостном попустительстве, стоившем жизни десяткам самоотверженных революционеров Я обвиняю вас, господа Черновы! Вы всячески отводили расследование подозрений Азефа и слухов о нем в течение нескольких лет и только, когда я пригрозил прессой, вызвали не Азефа, а меня в суд, недвусмысленно намекая, что можете со мной расправиться. Но когда я докажу вам, в этом суде, предательство Азефа, я позволю себе спросить и вас: — почему так долго, почему так страстно вы оберегали предателя и вешателя Азефа?

Ведь, разобравши весь материал о провокации Азефа и о попытках разоблачить его, оказалось, что я вовсе не первый, называвший его предателем и доведший это до сведения ЦК партии. Где ж причины тому, что в самом центре партии, в течение множества лет безвозбранно работал провокатор? Причины эти в том, что в ЦК царили и царят самые темные стороны партийно-организационных нравов.

Шесть лет назад пропагандист студент Крестьянинов обвинил Азефа в предательстве. Он узнал о по-

лицейской службе Азефа через филера Павлова. Разбиралось ли это дело партией? Нет. Азеф, глава, террора и полицейский шпион, был обелен кустарным способом. Но вскоре снова М. Р. Гоц получил письмо от Рубакина о подозрениях Азефа в предательстве. Что сделали с этим письмом члены ЦК? Его, смеясь, передали — кому? Главе террора и полицейскому шпиону Азефу. Но в партию снова пришло обширное, так называемое, «петербургское письмо», с подробными разоблачениями Азефа и Татарова. Письмо принесла неизвестная женщина члену партии Е. К. Ростковскому. Что вышло из этого? Прежде всего разрешите огласить это письмо:

«Товарищи! Партии грозит погром. Ее предают два серьезных шпиона. Один из них бывший ссыльный, некий Т., весной лишь вернулся, кажется из Иркутска, втерся в доверие к Тютчеву, провалил дело Иваницкой, Барыкова, указал кроме того Фрелих, Никонова, Фейта, Старынкевича, Леоновича, Сухомлина, много других, беглую каторжанку Якимову, за которой потом следили в Одессе на Кавказе, в Нижнем, Москве, Питере (скоро наверное возьмут); другой шпион недавно прибыл из заграницы, какой то инженер Азиев, еврей, называется и Валуйский; этот шпион выдал съезд происходивший в Нижнем, покушение на тамошнего губернатора, Коноплянникову в Москве (мастерская), Веденяпина (привез динамит), Ломова в Самаре (военный), нелегального Чередина в Киеве, бабушку (скрывается у Ракитниковых в Самаре)... Много жертв намечено предателями, вы их обоих должны знать. Поэтому мы обращаемся к вам. Как честный человек и революционер исполните (но пунктуально: надо помнить, что не все шпионы известны и что многого мы еще не знаем) следующее: — письмо это немедленно уничтожьте, не делайте из него копий и выписок. О получении его никому не говорите, а усвойте основательно содержание его и

посвятите в эту тайну или Брешковскую или Потапова (доктор в Москве) или Майнова (там же) или Прибылева, если он уедет из Питера, где около него трутся тоже какие то шпионы. Переговорите с кем нибудь из них лично (письменных сношений по этому делу не должно быть совсем). Пусть тот действует уже от себя не называя вас, и не говоря того, что сведения эти получены из Питера. Надо, не рассказыая секрета поспешить распорядиться, все о ком знают предатели будут настороже, а также и те, кто с ними близок по делу. Нелегальные должны постараться избавиться от слежки и не показываться в месте, где раньше бывали. Технику следует переменить сейчас же, поручив ее новым людям».

— Кому было отдано это письмо? Несмотря на предупреждения письма, несмотря на указание лиц, коих надо посвятить в это дело, письмо тут же передали в руки главе террора и полицейскому шпиону Азефу. Я знаю, он прочел его, побледнев. Но тут же перед товарищами проговорил: — «Т», — это Татаров, а «инженер Азиев», — это я. Я отвезу письмо в ЦК». И Азеф лично Гоцу отдал письмо. Но письмо не имело копии. В отношении Татарова, он дополнил его фамилиями Барыкова, Фрелиха, Фейта, Никонова. В отношении же себя отрезал конец письма, который был таков: — «Если не можете сделать все, так, как мы советуем, — ничего не предпринимайте, если же исполните все в точности, то уведомьте помещением в почтовом ящике «Революционной России» заметки:—«Доброжелателям. Исполнено». В этом случае последуют дальнейшие разболачения».

Это письмо констатировало выдачу «инженером Азиевым», в котором сам Азеф признавал себя: — съезда боевиков в Нижнем, покушение не тамошнего губернатора, выдачу динамитной мастерской, транспорта динамита Веденяпина, убежища Брешковской. Казалось бы красноречивейшие факты, которые так легко проверить! Но расследовал ли эти факты ЦК?

Нет. Он признал факты в отношении «инженера Азиева» мелкими и ничтожными. А письмо «шуткой» департамента полиции. В отношении Татарова поступили иначе. Татарова — убили. Кто? Азеф убил конкурента руками социалистов-революционеров.

Но ЦК не было передышки. Вскоре опять в партию пришли сведения о провокации от одесского охранника Соркина. Но и ими не воспользовался ЦК. Тогда, через два года, получилось опять подробное письмо саратовских с. р., не оставляющее никаких сомнений в предательстве Азефа. Но это многостраничное письмо осталось до сих пор даже — я подчеркиваю это — известным только нескольким членам ЦК. Его замяли. Сунули под сукно. Но что же это такое? Злостное попустительство или наивность, граничащая с глупостью? Я не хочу верить, что так наивен и плох ЦК партии с, р.

Посмотрим же, что делал за эти годы бесплодных попыток разоблачения Азеф? Он стоял во главе партии и террора и убивал левой рукой министров, а правой товарищей по партии, но отнюдь не членов ЦК. Он не убил ни одного из них, он убивал чудеснейших юношей и девушек, веривших в террор и своего руководителя. Как же назвать это «легкомыслие» ЦК партии, скажите мне, где его корни?

Меня обвиняют в клевете после того, как до меня в распоряжении ЦК имелся Монблан данных, из которых так легко было установить провокацию Азефа. Но есть такая испанская поговорка: — самый глухой тот, кто не желает слушать. И таким, внезапно глухим на одно ухо оказался ЦК! Корни этой глухоты были в неприглядной до жуткости картине партийно-организационных нравов. Я принужден коснуться этой атмосферы азефовщины, ибо она, а никто другой питала кровавыми соками неслыханное в мире предательство.

Члены ЦК партии с. р. вместе с монополией идейного руководительства соединили и монополию организационного руководства. ЦК превратился в большую, хорошо сплоченную семью. Члены стали непогре-

шимыми папами, самодовольными нарциссами, не терпящими непокорности. ЦК проникся бюрократическим духом касты. Цекисты стали выше критики, они стали недосягаемы, как римские императоры. Как полноправные члены ЦК, вошли жены цекистов, их родственники, царила сплошная склока, кумовство, интриги, сплетни, прислужничество. В семейную касту замкнулся всякий приток свежего воздуха. И в этой затхлости расцвел пышным, махровым цветом Азеф.

Он был своим в своей семье. Так какие же могли быть подозрения члена семьи? Хуже того, сюда примешалась самая гнусная, самая крепкая, самая страшная — власть денег. К деньгам льнут, перед деньгами пресмыкаются и совсем незаметно забота добыванья денег для партии превратилась из средства в цель.

Азеф являлся для партии добывателем денег. Он доставал их. Откуда? Вопрос другой. Этим не интересовались нарциссы. Провокатор Татаров тоже доставал деньги, благодаря чему и должен был быть кооптирован в ЦК. Эти деньги шли из департамента полиции от генерала Герасимова и сыщика Рачковского. ЦК был в их сетях. Но не целиком. Азеф, как главарь террора доставлял деньги и с другой стороны, от сочувствующих террору богачей и организаций. И вот с двух сторон он держал в руках партию, то есть, семью ЦК. Так, как же начнут разбирать дело его предательства? Ведь у такого предательства найдется слишком много родственников? Железная броня «круговой поруки» семьи ЦК стала для Азефа каменной стеной, за которой он убивал направо и налево, кого хотел, оставляя в живых членов ЦК и генерала Герасимова. Именно сознание кастовой солидарности считалось и считается «чувством товарищества» по отношению к Азефу, о котором так красно говорили члены ЦК. Но какую же чудовищную жестокость проявляли эти люди в отношении смелых, молодых, отважных товарищей? Я не могу поверить, неужели все подозрения, поступавшие в ЦК, не заставили господина

Чернова хоть бы раз задуматься, хоть бы раз кого-нибудь остеречь. Ведь именно вы, господа Черновы, передавали беззаветную молодежь в руки Азефа, не чувствуя даже обязанности предупредить. А вы обязаны были предупредить так: — «знайте, что существует «петербургское письмо», что существует «саратовское письмо», что существует подозрение Крестьянинова, имеются показания Татарова, обвинение «Мортимера» Рысса, существует масса обличительных данных против Азефа, но мы абсолютно доверяем Азефу, оставлям его в нашей среде и он осведомлен абсолютно обо всем, действуйте теперь, как хотите. Тогда бы, если б и шли на бойню, то хоть в полной осведомленности об опасности предстоящей игры. Но господа Черновы передавали Азефу молодежь молча. И беззаветную молодежь вешал генерал Герасимов. Правда, у Азефа были и другие, кроме виселицы, меры. Я должен упомянуть и о них. Со многими, отдавшими себя в распоряжение боевой организации террористами, Азеф поступал и иначе. Якобы для конспирации отсылал в самые глухие городки и местечки России, приказывая не двигаться с места без его вызова. Пьянствуя, развратничая, тратя безумные деньги, жандармские и партийные, он отсылаемым не давал средств к жизни, заставляя вести голодную и полную бездействия жизнь. За это он получал от Герасимова. Отважные идеалисты, преданные партией в руки провокатора, кончали жизнь самоубийством. Это не единичные факты! Товарищ Чернов об этом знает! Но на стреляющихся молодых революционеров не обращали внимания, во первых Азеф был черезчур свой человек в аристократии ЦК, а во вторых диктатор террора бывал часто безаппеляционен, указывая товарищам: — террор — это я! И вот перед нами сотни трупов, совсем недавние жертвы, повешенные Герасимовым беззаветные Зильберберг, Сулятицкий, Синявский, Никитенко, Лебединцев, Трауберг! И все же представители партии, друзья Азефа, не желают увидеть правду. Так разрешите же, перейти к фактической стороне, к деталям разоблаче-

ния, которые должны слепых убедить в том, что террор партии вел агент полиции.

Бурцев перешел к данным сыска, приведшим к убеждению, что «Раскин» — Азеф. На четвертом часу он чувствовал уже скрепы, пролегшие меж ним и судьями. Было ясно: — Лопатин верит, Кропоткин поколеблен. Даже, кажется, поколеблена Фигнер. Факты шли наростая, давя сознание. Бурцев рассказывал, как ездил в Варшаву к инженеру Душевскому узнавать, был ли у него пять лет назад Азеф, как ездил в Швейцарию к Рубакину. Сотни тончайших фактов передал Бурцев. Но вот, сделав паузу, и отпив воды, он проговорил:

— Я изложил историю попыток разоблачений Азефа, изложил факты, устанавливающие предательство, изложил свой гнев и ту атмосферу, в которой при легкомысленном попустительстве действовал Азеф, но у меня есть и еще факт, после которого даже В. М. Чернову придется, кажется, поверить. Я могу его сообщить суду под условием, если представители эс-эров дадут честное слово, что не воспользуются сообщаемым иначе, как с согласия суда. Суд же пусть делает из сообщения, что найдет нужным.

Наступила тишина. Ее прервал председатель Лопатин голосом, уставшим от молчания:—Угодно представителям обвинения согласиться с предложением Владимира Львовича Бурцева? — он щурил глаза, ибо за двадцать лет одиночной камеры стал близорук.

Чернов возбужденно совещался с Натансоном и Савинковым.

Встал Савинков:

— Мы согласны из сообщаемого Бурцевым факта не делать никакого употребления без согласия суда.

— Тогда, — проговорил Бурцев, — я сообщу. Совсем недавно, за неделю до моего последнего заявления партии, я узнал, что заграницей находится бывший директор департамента полиции Лопухин, которого, я знаю, как противника революционеров, но честного человека, и который, как известно, благодаря

именно этому, впал в немилость у правительства. Я был внутренно убежден, что если освещу Лопухину двойную работу Азефа, то он поразится услышанным, ибо знает только Азефа, как агента полиции, а не как революционера и, поразившись, как честный человек, выдаст мне этого изувера, дьявола рода человеческого. Я ловил Лопухина. Узнал, что 25 числа он будет в Кельне на пути в Берлин, откуда поедет в Россию. Я поехал в Кельн ждать его.

Я узнал его в зале 1-го класса, видел, как он прошел в вагон. Я шел за ним. Сел умышленно в другое купе, не желая встречаться, пока не тронется поезд. Я тщательно следил, знал, что я «без хвостов». Когда поезд тронулся, я как бы случайно вошел в купе Лопухина. Он был один и читал «Франкфуртер Цейтунг».

Мы поздоровались, заговорили, беседа началсь совершенно обыденно, я не старался брать быка за рога, но сказав, что провалы последних дел партии с. р. объясняются тем, что во главе БО стоит провокатор, почувствовал, что почва создана и обратился к нему так:
— Алексей Александрович, позвольте рассказать вам все, что я знаю об этом провокаторе и о его деятельности, как среди революционеров, так и охранников.

Он согласился. Я начал рассказ. Знаю, что шел ва банк, рассказывая бывшему директору департамента полиции о карьере революционера Азефа, знаю, сорвись мое дело и господа Чернов и Савинков не поцеремонятся со мной. Но вера поставила на карту мою жизнь. Я рассказал детально, как Азеф убивал Плеве, как убивал Сергея, как ставил акт на Дубасова, как подготовлял убийство царя и в то же время посылал на виселицу революционеров, отдавая их Герасимову. Лицо Лопухина было передо мной, чем дальше я рассказывал, тем явственней видел, что Лопухин изумлен, подавлен, готов не верить, что он знает этого охранника.

Когда я говорил о цареубийстве, Лопухин побледнел, но он уж не мог скрыть волнения и не верить со-

общаемым фактам, о которых знал с другой стороны баррикады. Лопухин был потрясен, по моему, именно тем, что если не непосредственно, то все же и он принимал участие в работе Азефа. И тут, после шестичасового разговора, я сказал: — Будучи директором департамента, вы не могли не знать этого провокатора, он известен, как «Раскин», я окончательно разоблачил его, разрешите мне сказать, кто скрывается под этим псевдонимом. Я готов был назвать Азефа, как вдруг взволнованный Лопухин сказал: — Никакого Раскина я не знаю, я знаю инженера Евно Азефа...

Бросив председательское место, Лопатин тяжелыми шагами подошел к Бурцеву и положил руки на плечи:

— Львович, дайте честное слово, что вы это слышали от Лопухина! — Но тут же обернулся, безнадежно махнув рукой. — Да что тут, дело ясное! — в глазах старого революционера стояли слезы.

Вскочили представители обвинения, вскочили с мест судьи, произошло замешательство.

— Вы выдали Азефа! — кричал Чернов. — Вы подсказали его Лопухину!

— Азеф выше обвинений Лопухина!—жестикулировал Натансон.

— Герман Александрович, — подошел к Лопатину Савинков, — это невозможно, вы верите Лопухину?

— Конечно. На основании таких улик убивают.

Савинков был, как пьяный, болела передняя часть головы, он бормотал: — невозможно.

— Так как же вы объясняете роль Лопухина?

— Лопухин и Азеф. Я верю Азефу.

— Почему? Лопухин не заинтересован.

— Я верю, Азеф невиновен.

— Петр Алексеевич, но ведь это же полицейская интрига! Лопухин набрасывает тень на Азефа! — кричал Чернов, наседая на Кропоткина.

— Что же? Вера Николаевна тоже верила Дегаеву, — проговорил Кропоткин, снимая с себя руку Чернова.

Лопатин громко сказал:

— Объявляю сегодняшнее заседание суда закрытым.

4.

Вечером Савинков стоял у парапета Моста Инвалидов. Он думал в темноте о суде, об Азефе и о герое романа. «Если клевета и заблуждения Бурцева окажутся правдой? Неужели Азеф равен герою, плюнувшему в лицо человечества? Ложь.» Но страшные, смутные ощущения наполняли душу. «Невероятно. Ложь. Бурцев заплатит дорого за это. Его едет убить Карпович.»

Сена стояла мутная, в красных, зеленых отраженьях огней. Под мостом, сжавшись, скрипели баржи. Савинков ощутил запах яблоков. Нагнувшись, увидел, баржи гружены яблоками. Постояв, он тихо пошел через мост — к Бурцеву.

5.

В дверях квартиры Бурцева Савинков столкнулся с Бэлой, одетой в пестрое манто, остаток петербургской конспирации террора.

— Вы тоже сюда? — странно проговорила Бэла.

— Здравствуйте, Бэла, как вы бледны, вы нездоровы?

— А разве вы здоровы?

Не простившись, не здороваясь, Бэла зашелестела пестрым, дорогим манто, нешедшим к ее нехорошей фигуре.

— Очень рад, что зашли, Борис Викторович, — среди книг, бумаг, газет, фотографических карточек говорил Бурцев. — Вы меня уж простите, вас считаю

ведь единственным честным противником. Садитесь пожалуйста, — улыбался выставленными зубами седенький, узенький Бурцев.

— То есть вы, Владимир Львович, полагаете, что есть товарищи, ведущие себя на суде нечестно?

— Темна вода во облацех, Борис Викторович. Не верю, конечно, чтоб кто-нибудь из ЦК знал об одновременной работе Азефа в департаменте. На суде я достаточно обрисовал атмосферу коррупции в ЦК, чтоб понять почему проходили мимо подозрений. Но посудите сами: всякому непредубежденному человеку после моего доклада ясно, Азеф предатель. И вот тут-то простите за откровенность ЦК делает фортель. Спасай мол самих себя! Спасай партию! Пусть, мол, даже Азеф и предатель, но оглашать — ни-ни. Произойдет восстание периферии против центра, потеря лавров, постов, чинов, орденов, — захохотал Бурцев. — Да что там говорить, партия конечно сильно закачается, может даже и не оправится. Вы понимаете, что произойдет когда везде будет напечатано: глава партии Азеф — агент полиции. Ведь это же факт мирового масштаба, Борис Викторович! Небывалый случай в истории! Сенсационный! Во всех странах заговорят.

— Если б это была правда.

— А это правда, Борис Викторович. Только партия не хочет роскоши правды. Партии выгодней другое, — Бурцев засмеялся, выставляя передние, прокуренные зубы, — покарать Бурцева за роскошь правды.

— Хотите сказать — убить? — сказал Савинков, поняв зачем к Бурцеву приходила Бэла.

— Разумеется.

Савинков улыбнулся монгольской улыбкой.

— Ведь становясь на партийно-генеральскую точку зрения, Борис Викторович, выход из дела ясен: — Азеф предал многих товарищей, но их уже повесили, стало быть — не вернуть. «Что прошло — невозвратимо». А разоблаченный Азеф покрывает партию позором. Так лучше покрыть сосновой доской Бурцева,

чем позором партию. Концы в воду. А Азефа отвести под ручку: — поставь, мол, акт мирового масштаба с рекламой на весь мир — убей, мол, царя — реабилитируй себя и отойди в сторонку, поезжай скажем в Южную Америку плантации разводить. Дегаев был много мельче и то во искупление грехов убил полковника Судейкина и получил индульгенцию. Ну а Азеф, знаете, многое может, хитрейшая бестия, голова не дегаевской чета. Царя-батюшку за милую душу кокнет и не вздохнет.

— Владимир Львович, — перебил Савинков, ему было трудно начать, ибо Бурцев говорил не переставая, — у меня мозги заворачиваются, когда я вас слушаю. Неужели вы действительно верите? Поймите же, что Азеф ни в чем не виновен. Это ваш кошмар, навождение. Во всех нас мысли нет о подозрении, малейшего колебания нет.

— Какое же колебание, — захохотал Бурцев, — когда Бэла приходит, прямо говорит, что пустит мне пулю в лоб. Тут не до колебаний, знаете.

— Я пришел к вам говорить совершенно искренно, Владимир Львович. Скажите, как на духу: — неужто ж не навождение? неужто ж вы сами то твердо, каменно убеждены?

— Каменно убежден, — проговорил Бурцев.

— Не допускаете мысли,что Лопухин с Бакаем играют с вами в игрушку?

— Хороша игрушка! Да знаете вы, что Бакай разоблачил до 30 провокаторов! Докопался до таких столпов, как польский писатель Бржозовский, властитель дум революционной молодежи! А Лопухин? Да вы бы видели его лицо? Для чего ему лгать? Ведь я же нашел его, а не он меня?

— Невероятно, — бормотнул Савинков, — ничего не понимаю, но ни на минуту, понимаете, ни на минуту не допускаю мысли.

— А кстати, где Азеф? — как бы не расслышав, сказал Бурцев.

— На днях приезжает. Был в Испании.

— В Испании? Недурное местечко. А скажите, Борис Викторович, правда, что Карпович тоже едет в Париж?

— Писал.

— Убивать меня едет?

— Писал и это.

— Так-так, — проговорил Бурцев. — А знаете, как он освободился? Нет? Так я расскажу вам: — после бегства из Сибири, он встал во главе отряда в Петербурге, неправда ли? Ну вот, его совершенно случайно арестовали на улице. Но. Азеф, зная, что Карпович верит в него как в бога и берется в меня стрелять, защищая его честь, не перебивайте, не перебивайте, вместе с Герасимовым отпускают его из тюрьмы. Да, да, посудите сами, какой вздор разыгрывается среди бела дня. Опасного террориста, шлиссельбуржца, убийцу министра Боголепова, главу отряда перевозит из тюрьмы в тюрьму околодочный на простом извозчике. Больше того, у аптеки околодочный, кстати сказать, переодетый Доброскок, «Николай золотые очки», слезает и говорит Карповичу: — «посиди, я сейчас приду». — Выходит из аптеки, видит, что Карпович сидит, не догадался. Поехали дальше. Околодочный останавливается у какого-то магазина, опять «посиди». Но тут уж Карпович догадывается, бежит. И к кому же? Прямо на квартиру к Азефу.

— Вы хотите, стало быть, сказать, что полиция и Азеф отправляют террориста с незапятнанным именем убивать вас?

— Конечно! Именно так, Борис Викторович! А вы думаете, что в департаменте все уж так и лыком шиты. Да там, батюшка, такие Мак-Магоны сидят, такую тончайшую инквизицию разводят, что сам бы Торквемада в восторг пришел. Это маги, Борис Викторович, маги своей техники!

— Владимир Львович, невозможно, — хохотал Савинков, — вы больны шпиономанией, больны! Маниакальные, навязчивые идеи! И все сходится как в

аптеке! Сверхъестественно и феноменально! Но поверить хитросплетению, не обижайтесь, никак не могу.

— Да я и не обижаюсь. Я же знаю, что если меня Карпович и Бэла не убьют до окончания суда, вы решительно во все поверите. Даже, пожалуй, Чернову и то придется поверить, хотя он этого ух как сильно не хочет!

— Если суд вас оправдает, мы пойдем на конфликт с судом, — вставая проговорил Савинков, — вы понимаете, что это не укладывается в голове. По-ни-ма-е-те? — сказал он, указывая на лоб пальцем. — А если это будет правдой, то надо понять и то, что все провокаторы взятые вместе не нанесли бы такого удара террору, какой наносите вы, террорист Бурцев. Ведь вы же сами сторонник террора?

Бурцев сделал вид, что не расслышал фразы и вставая сказал:

— Тогда б и суда не нужно. Только вот что, Борис Викторович, когда увидитесь с Азефом, так уж, простите за напоминание, о Лопухине ни слова.

— Мы дали слово суду.

— Ах, знаете, дружба великая вещь, — захохотал Бурцев, выставляя прокуренные зубы. — Прощайте. А мучаетесь вы душевно, Борис Викторович? Ох, еще как помучаетесь, когда узнаете с кем людей убивали.

— А это мы увидим, — сказал, выходя, Савинков.

6.

В этот день на парижских извозчиках ехало много разнообразных людей. Но едва ли был более встревоженный и беспокоящийся седок, чем тучный господин в легком песочном пальто и светлой шляпе.

Извозчик вез его в узком кабриолете на рю де ля Фонтен с средней скоростью, сдерживая кабриолет на углах, где неслись потоки встречных экипажей.

Уж вечерело. Сеял дождь. Господин в песочном пальто и светлой шляпе волновался не потому, что был

без зонта и светлая шляпа могла испортиться. Даже не потому, что ревматически ныли ноги. В сырую погоду мог, конечно, разыграться ревматизм. Но господин просто боялся, что вот сейчас, на рю ля Фонтен, в квартире «Мальмберг», он будет убит.

«Аргунов мог дать телеграмму, разоблаченье может быть с минуты на минуту». Азефа передернула судорога. Он всматривался в номера домов.

— Иси, иси, — забормотал он и, остановив извозчика, слез.

Он перешел на обратную дому Савинкова сторону. И шел походкой вора, идущего на дело. Он кутался в тени домов, в подъездах. Не доходя остановился. Отсюда видел: — окна квартиры Савинкова освещены, за ними мелькают человеческие тени. «Собрание. Может кончено?» Тени в окнах замелькали толпой. Отхлынули. Окна стали чисты и светлы. «Уходят». Азеф почти отбежал к следующему подъезду.

Он видел, как выходили. Узнал всех. «Боевики». Сердце захолонуло и упало. Вот — Савинков с непокрытой лысоватой головой, в одном пиджаке, провожает. Прощается с двумя женщинами — Рашель и Бэла. За ними — Вноровский, Слетов, Зензинов, Моисеенко. Услыхать хоть бы самое короткое слово. Он видел, как помахал рукой Савинков, повернулся и пошел в дом.

«Ерунда», — мотнул бычьей головой Азеф и наискось стал переходить улицу.

7.

И все же сердце билось не оттого, что была крута лестница. Азеф поднимался тяжело, останавливался в пролетах поворотов.

В кабинете был зеленоватый полусумрак от стоявшей на письменном столе лампы. Азеф вошел за Савинковым усталой походкой. Лицо словно налилось водянистым жиром. И ярковывороченные губы каза-

лись краснее обычного. По лицу, походке Савинков увидал в нем волнение. Азеф сел возле стола, от абажура толстое лицо стало зеленым.

— Расскажи подробно обо всей этой гадости, — пробормотал он. — Как это меня измучило и разбило.

— Страшен чорт, Иван, да милостив бог. Конечно неприятно, но сейчас у меня были боевики, для всех ясно, что Бурцеву при обвинении его судом, ничего не остается, как пустить пулю в лоб. Он даже сам так сказал Бэле.

— Так сказал? — скороговоркой проговорил Азеф.

— Да. Главный козырь — охранник Бакай, бежавший из Сибири; он был сослан за связь с Бурцевым.

— Я ему давал деньги на побег, — пробормотал Азеф.

— Бурцев говорил, что ты приходил вместо Чернова. Он тебя и тут обвиняет, маньяк. Говорит, что департамент по твоему распоряжению дал телеграмму об аресте Бакая в Тюмени и будто только совершенно случайно Бакай бежал.

— Какая чепуха, — прохохотал Азеф. — Ну а дальше?

Савинков рассказывал о суде.

— А что это за «сенсация»?

— Какая сенсация? Ах да, Бурцев называет это «сенсацией».

— Что это такое?

— Я невправе это сказать, Иван.

— Почему? Ты дал слово?

— Дал.

— Жаль, — проговорил Азеф. Савинкову показалось, что Азеф побледнел, но свет был зелен, разобрать было трудно. — Опять какой-нибудь Бакай?

— Чиновник полиции.

— Высший?

— Довольно.

Азеф смотрел на Савинкова в упор.

— Неужели же ты мне не скажешь, Борис? Лопухин? — делая улыбку сказал Азеф.

— Может быть, Лопухин. Я дал слово, Иван. Я тебе ничего не говорил.

Азеф отвел глаза, вздохнул животом, после молчания проговорил быстрым, гнусавым рокотом:

— Так ты говоришь, Кропоткин подозревает двойную игру с моей стороны?

— Да.

Азеф помолчал, ухмыляясь. И вдруг рассмеялся резко, звонко, на всю комнату.

— Да конечно. Не очень то вы умны, чтобы вас нельзя было обмануть. Вас действительно ничего не стоит обмануть. Бурцев врет вам. Приводит «сенсации», а вы... хороши товарищи. Ну, Кропоткин из ума выжил, ему все может притти в голову, а вы?

— Почему мы? Ты так говоришь, будто мы в отношении тебя что-то упустили?

— Мы не должны были итти на суд, — зло проговорил Азеф, — это была фантазия твоя и Виктора, что Бурцев будет разбит в две минуты и что я выйду из всей этой грязи сухой. Вам до моего душевного состояния не было никакого дела. — В мгновенном, змеином, плоском взгляде Савинков ощутил ненавидящую злобу, которую знавал нередко.

Азеф сидел, сложа руки на животе. Он был, как безобразный Будда.

— Ты бросаешь упреки, это только неблагодарность. Если ты думаешь, что тебя плохо защищают, иди сам на суд, опровергай вместе с нами, говори. Я считаю, это было бы хорошей защитой дела.

Азеф взглядывал искоса.

— Я думал, вы, как товарищи, с которыми пуд соли съел, защитите.

— Мы делаем все, что можем, Иван.

Азеф молчал. Савинков знал и этот переход от отчаянной злобы к ласковости, почти нежности. Азеф улыбался, не меняя позы. Потом хмурясь, проговорил:

— Так ты думаешь, лучше, если я явлюсь на суд?

— Конечно.

Азеф откинулся. Савинков увидал громадный, зобастый подбородок и шею в белом воротничке и красноватом галстуке.

— Нет, — проговорил он. — Этого я не могу. У меня нет сил на эту гадость итти, возиться. — И эту перемену Савинков знал, она была редка, но он ее видел. Азеф казался внезапно разбитым, подавленным.

— Эта история, — проговорил он, — меня совсем убьет, если вы не положите ей конец... Убить бы эту гадину Бурцева...

Играя коробкой спичек, Савинков сказал.

— Немыслимо. Скандал, а не реабилитация.

Азеф молчал.

8.

Ночью, когда Азеф вошел в комнату, Хеди проснулась, зажмуриваясь от зажженного света. Азеф ощущал озноб, проигрыш, гибель, ужас. Увидев выпроставшиеся руки, половину груди, разрумянившиеся ото сна щеки, даже не выговорил слов. Тихо, быстро раздевался. Шлепнув босыми ногами, скользнул голый, громадный, накренил матрац. Он походил на отчаявшуюся обезьяну. Хеди ждала его и обожгла горячими ногами.

9.

События развивались стремительным детективом. Менялись. Колебались. Но вдруг узнали все, что Азеф ездил не в Берлин, в экспрессе носился к Лопухину, в Петербург, именем детей умоляя пощадить его, не выдавать революционерам. За Азефом у Лопухина зазвенел шпорами генерал Герасимов, грозя именем Столыпина, смертью. За Герасимовым к Лопухину вошел следователь партии Аргунов.

— У меня были Азеф и Герасимов, — сказал Аргунову Лопухин. — Меня обещают арестовать, сослать

в Сибирь за государственную измену. Это меня не пугает. Но не думайте, что я выдаю революционерам Азефа из-за сочувствия революции. Я стою по другую сторону баррикад. Я делаю это из-за соображений морали.

10.

Собрав последние силы, Азеф ехал в Париж. От генерала Герасимова было четыре паспорта, две тысячи рублей на побег. Герасимову он оставил завещанье в пользу семьи, прося помочь ей, если его убьют в Париже.

Азеф приехал к Любови Григорьевне на Бульвар Распай № 245. И без Хеди был беспокоен. Оба сына были при нем. Мысль, что убьют именно тут, на глазах жены и детей была невыносима.

— Ваня, господи, как ты изменился, как они тебя мучат и за что? За то, что ты десять лет ходил с веревкой на шее? Негодяй, этот Бурцев...

— Ну хорошо, хорошо, не скули, без тебя тяжело, — и Азеф прошел в комнату детей. Сев там, он рассматривал школьные рисунки сына. Любовь Григорьевна готовила завтрак. Азеф листал и листал рисунки. Пока не понял, что не видит их, а листает от непокидающего страха.

— Ваня! — крикнула Любовь Григорьевна. Азеф вздрогнул. И в тот же момент раздался звонок.

«Они», — подумал, вскакивая, Азеф, желая предупредить жену, бросился в коридор. Но Любовь Григорьевна уже открыла. И он увидал: — Чернова, Савинкова и боевика Павлова.

— А, Любовь Григорьевна! — хохотал в дверях Чернов. — А мы к Ивану! Дома?

Азеф, молча, шел из темноты навстречу им медленными шагами.

Поздоровавшись, не глядя повел в крайнюю комнату, в свой кабинет. Грузно сел за стол, слегка приоткрыв ящик, где лежали два револьвера.

— В чем дело, господа? — проговорил Азеф. Оглянувшись, увидал, что они стоят, загородив выход.

— В чем дело? — собирая силы, чтобы скрыть волнение, дрожанье челюстей, проговорил Азеф.

Чернов вытащил из кармана сложенный вчетверо лист.

— Прочти документ, Иван. Из Саратова.

Савинков стоял необычайно бледный, узких глаз не было видно, губы словно вдавились, вид был бессонен и болезнен. Павлов глядел спокойно на Азефа.

Савинков видел как, белея, Азеф встал спиной к окну, начав читать разоблачающий документ, но он не читал, он только собирал силы, чтоб оторваться.

Овладев собой, Азеф грубо проговорил:

— Ну так в чем же однако дело?

— Нам известно, — сказал Чернов, — что 11 ноября ты ездил в Петербург к Лопухину.

Азеф ответил спокойно.

— Я у Лопухина никогда в жизни не был.

— Где ж ты был?

— В Берлине.

— В какой гостинице?

— Сперва в «Фюрстенхоф», затем в меблированных комнатах Черномордика «Керчь».

— Нам известно, что ты в «Керчи» не был.

Азеф захохотал звонким смехом, который так хорошо знали Чернов и Савинков.

— Смешно, я там был...

— Ты там не был.

— Я был! — бешено закричал Азеф. — Что за разговоры! — Азеф выпрямился, подняв голову. — Мое прошлое ручается за меня! Я не позволю!

Тогда Савинков приблизился, держа руку в кармане. Он был синебледен. Азеф смотрел ему в глаза.

— Если ты говоришь о прошлом, — глухо сказал Савинков, — скажи, почему в покушении на Дубасова, когда карета ехала мимо Владимира Вноровского — у него не было бомбы?

— Это ложь! — бледнея, проговорил Азеф, у него дрожали ноздри и губы. — У всех метальщиков были бомбы. Карету Дубасова пропустил Шиллеров. Я не знаю почему.

— Мы допросили Вноровского. Дубасов проехал мимо него. Но у него не было бомбы. Ты ему не дал.

— Ложь! — закричал Азеф. — Было так, как я говорю!

— Стало быть Вноровский лжет?

— Нет, Вноровский не может лгать.

— Значит лжешь ты? — Савинков смотрел в упор дрожавшим лицом. Азеф был бел, но каменен, собрал последние силы.

— Нет, я говорю правду.

— Подождите, Павел Иванович, мы должны сначала выяснить вопрос о Берлине, — перебил Чернов.

— Иван, зачем ты ездил в Берлин?

— Я хотел остаться один, Виктор. Я устал. Я хотел отдохнуть. Я думаю, это понятно.

— Почему ты из «Фюрстенхоф» переехал в «Керчь»?

— В «Керчи» дешевле.

— Так ты переехал из за дешевизны? С каких это пор, ты вдруг стал расчетлив? Ты всю жизнь жил глухими ассигновками и, кажется не копейничал?

— У меня были и еще причины.

— Какие?

— Это не относится к делу.

— Ты отказываешься отвечать?

— Я переехал из за дешевизны. Остальное не касается дела.

— Скажи, как ты понял мои слова, — проговорил запинаясь Савинков, — когда я говорил тебе, что некто, имени которого я назвать не могу, сказал Бурцеву, что ты служишь в полиции и разрешил сообщить это мне?

— Я понял, что некто разрешил Бурцеву сказать это тебе.

— Некто — Лопухин, — проговорил Чернов. — Он не называл вовсе фамилии Савинкова. Но ты, со слов Павла Ивановича, понял, что Лопухин назвал его фамилию.

— Ну?

— И потому ты вошел к Лопухину со словами: — вы сказали Савинкову, что я агент полиции, сообщите ему, что вы ошиблись.

Вот сейчас дрогнул и стал зелен Азеф. И в тот же момент, прорезая пространство меж ними, заходил по комнате.

— Что за вздор! Я не могу ничего понять! Надо производить расследование!

— Тут нечего понимать, — повернулся Чернов. — Иван, мы предлагаем тебе условия, расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить тебя и семью.

Азеф услыхал в этот момент, как отворилась дверь, из школы пришли мальчики и, зашикав, Любовь Григорьевна повела их коридором на цыпочках.

— Иван, скажи все без утайки. Разве ты не мог бы поступить так, как Дегаев? Ты мог бы больше, Иван.

Азеф ходил, молча. Голова была опущена.

— Принять предложение в твоих интересах.

Азеф не отвечал.

— Мы ждем ответа.

Азеф остановился перед Черновым, смотря в упор, в глаза, заговорил:

— Виктор, неужели ты можешь так думать обо мне? Виктор! — проговорил дрожаще. — Мы жили душа в душу десяток лет. Ты меня знаешь, также, как я тебя. Как же ты мог прийти ко мне с такими гнусными предложениями?

— Если я пришел, стало быть обязан прийти, — ответил Чернов, отстраняясь от Азефа.

— Борис! — проговорил Азеф, обращаясь к Савинкову. — Как же ты? Неужели ты, мой ближай-

ший друг, ты веришь в эту гадкую выдумку полиции? Господи, ведь это же ужасно!

— Мы сейчас уйдем, Иван. Ты не хочешь ничего добавить к сказанному? Ты не хочешь ответить на вопрос Виктора Михайловича?

— Мы даем тебе срок до 12-ти часов завтрашнего дня, — проговорил Чернов.

— После двенадцати мы будем считать себя свободными от всяких обязательств, — подчеркивая, произнес Савинков.

11.

Азеф стоял посредине комнаты. Он ждал, чтоб захлопнулась дверь. Он слышал любезный хохоток Чернова с Любовью Григорьевной. Слышал, что-то сказал Савинков. Дверь хлопнула. Тогда он сел за стол, схватился за голову и вместе со стонами почувствовал смертельную боль в висках, ему показалось, что он падает. Когда Любовь Григорьевна вошла в комнату, он лежал полутуловищем на столе на своих руках.

— Ваня! — вскрикнула она. — Ваня! Что с тобой!?

Азеф испуганно поднял голову. Волосы были смяты, глаза мутны, дики. Не смотря в лицо жены, схватив ее руку, он проговорил страшным хрипом:

— Они убьют, Люба,не впускай никого, ради бога, если я не уйду сегодня, убьют.

Любовь Григорьевна зарыдала. Азеф был страшен, ужасен в отчаянном животном испуге.

12.

— Ну так как же, Виктор Михайлович?!

— Позвольте, товарищи!

— Так чего ж позволять, убить или не убивать?

— Убить. То есть нет. Невозможно! ЦК против, я член ЦК!

— Но он уличен?

— Но ведь Натансон еще не убежден?

— Товарищи, он убежит! — кричит истерический голос боевички Поповой.

— Виктор Михайлович, новый моральный удар, он убежит!

— Конечно может, конечно, я знаю. Но если убивать, не во Франции. Рисковать составом ЦК? Невозможно. Где-нибудь в Италии, снять виллу.

Кто-то отчаянно хохочет: — Почему именно в Италии?

— Боже, какой ужас! какой ужас! — рыдает Рашель.

— Рашель милая, успокойтесь.

— Все оплевано, втоптано в грязь, лучшее, светлое, Дора, Сазонов, Каляев.

— Уймите ее...

— Не убивать из-за спокойствия партийных бюрократов!!!???

— Ведь уже ночь, надо принять решение!

— Товарищи! — покрывает голос Чернова. — Ввиду сложности и невозможности найти выход, ЦК предлагает отложить вопрос!

— Но ведь он убежит! — кричит кто-то.

— Товарищи, с таким шагом нельзя торопиться. Поспешное убийство человека, занимавшего в партии пост, может вызвать смуту. Мы должны...

— Ваше мненье, Павел Иванович?

— У меня нет мненья. Убить. Отложить. Все равно. Можно убить сейчас же на глазах жены.

— Позвольте, но она верит в невиновность?

— Мать Татарова тоже верила.

— Товарищи! Завтра пленум! Отложим до завтра! Поставим дозор к квартире. Предлагаю товарищей Зензинова и Слетова! Кто за? Кто против? Все согласны?

— Я не согласен!

— Вы не согласны? Единогласно. Прекрасно.

И Чернов поспешно выбежал из квартиры.

13.

Эта ночь в квартире Азефа была ужасна. Дети спали спокойно. Но вид освещенного камином кабинета Азефа был необычаен: стулья сдвинуты, ширмы повалены. на полу бумаги, вещи, дверь раскрыта. Растрепанный, в одной рубахе, в помочах Азеф торопливо пробегал кучи бумаг, часть утискивал в чемоданы, часть бросал в пылавший камин. В спальной у темного окна, дрожа, стояла Любовь Григорьевна.

Отрываясь от укладки, Азеф выпрямлялся, с лицом полным испуга говорил:

— Что, Люба? Все еще там? А?

— Ходят, — из темноты отвечала Любовь Григорьевна.

— Ооооо... — рычал Азеф, стискивая голову руками, — убьют.

Любовь Григорьевна из-за угла всматривалась в темный бульвар де Распай, видела двух в черных пальто, тихо прогуливавшихся по противоположной стороне. Она знала, дозор партии — Зензинов и Слетов.

В час ночи два чемодана были стянуты. Но выйти из дома нельзя.

— Люба, — проговорил Азеф, — потуши везде свет, пусть думают, что лег спать... — И скоро в одном белье. так, чтобы его видели с противоположной стороны, Азеф подошел к окну, постоял, электричество потухло, фасад квартиры потемнел. В темноте Азеф одевался. Любовь Григорьевна помогала.

— Господи, господи, — шептал Азеф, — ты пойми, Люба, ведь если рассветет, я не уйду от них, знаешь, надо итти на все, я переоденусь в твое платье...

— Ваня, ведь не полезет ничто,—дрожа, проговорила Любовь Григорьевна, — боже мой, какой ужас, какая гнусность, и это товарищи.

— Постой, я посмотрю из спальной.

Азеф подошел к портьере, всматриваясь в улицу. По противоположной стороне шел народ. Мужчины, женщины застлали Слетова и Зензинова. Но вот они

прошли. Азеф увидал наискось от дома — стоят два господина. «Они». Азеф всматривался, как никогда ни в кого. «Но что это?» Азеф не верил глазам. Одна из фигур, Зензинов, он был выше Слетова, сделала странный жест. Слетов повторил жест, оба пошли по бульвару, уходя от квартиры.

— Люба, — вздрагивая, говорил Азеф, — пришла смена, теперь они наверное на этой стороне, уверен, пришел Савинков, на этой стороне мы их не выследим. Надо спуститься, из двора посмотреть.

Любовь Григорьевна уж одевалась, накинула платок и ушла задним ходом.

Азеф остался у портьеры. Сердце билось часто, сильно. Он держал правую руку на левой стороне груди, считая удары. По черной лестнице раздались шаги, почти что бег. Выхватив из кармана револьвер, Азеф бросился за дверь.

Вбежала Любовь Григорьевна.

— Ваня, Ваня, никого нет, никого, Ваня, беги, беги...

Азеф держал ее за руки:

— Ты уверена? Ты хорошо смотрела? Может быть где-нибудь в подъезде?

— Никого, везде смотрела, никого; я остановила за два дома извозчика, он ждет, беги, беги.

Азеф быстро оделся. Согнувшись под тяжестью чемодана, сбегала вниз с ним Любовь Григорьевна. Хотела обнять в подъезде, в последний раз, но Азеф рванулся из ворот и, оглядевшись, с чемоданами бросился к извозчику.

Любовь Григорьевна не успела обнять.

14.

Это было в пять утра, а в семь по бульвару Гарибальди бегом бежал возмущенный Бурцев. Вбежав к Лопатину, в дверях закричал, подняв вверх обе руки:

— Герман Александрович! Ужас!

— В чем дело?

— Упустили. Бежал ночью, — опускаясь на стул, проговорил Бурцев.

Шлиссельбуржец тихо качал седой, львиной головой.

— Скажем, вернее, не упустили, Львович, а отпустили, — проговорил он, горько засмеявшись.

— Помилуйте, на что это похоже! Позавчера группа добровольцев эс-эров предложила ЦК все дело ликвидировать собственными силами без всякого для ЦК риска. Так господа Черновы отклонили предложение: — Ради, говорят, бога не вмешивайтесь, вы все дело испортите.

— Что ж там, — усмехнулся Лопатин, — снявши голову, по волосам не плачут. Давайте-ка, Львович, кофейку выпьем.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1.

Во всех газетах мира писали об Азефе. В Германии, Франции, Америке, Австрии, Англии, Испании, Бразилии, Австралии, Аргентине. Сопровождали тему фантастическими вымыслами, уголовными орнаментами, психологическими домыслами. Азефа называли «инфернальным типом Достоевского», Бурцева — «Шерлок-Хольмсом революции». Впрочем, так назвал себя Бурцев сам в книжке серо-зеленого цвета с разрывающейся бомбой «Полицейские и террористы». Бурцеву понравилось, что его фотографируют, в журналах помещают рядом с Азефом, показывают в кинематографах. В первый год на деле Азефа он заработал 100.000 франков. Седенький старичок с раскрытым ртом, выставленными прокуренными зубами внезапно перестал понимать, что в его «успехе» замешана кровь. Окружившись провокаторами, он разыскивал новые сенсации.

Не то случилось с ЦК. В прессе, обществе говорили, что предательство шире. Что ЦК знал об Азефе многое, скрывая, ибо Азеф был выгоден партии. Незаслуженная грязь летела в Чернова. Он говорил речи до спазм горла. И все же ненависть не гасла. А после самоубийства боевички Бэлы, застрелившейся оттого, что Бурцев по безалаберности и недостатку времени спутал ее с провокаторшей Жученко, а Чернов слишком длительно допрашивал, вспыхнула с новой силой. Молодежь взорвала и фраза Савинкова, брошенная в пылу споров. Он сказал, что «каждый революционер — потенциальный провокатор». Сказал то, что не хотел сказать, а может быть не удержал подуманного, он был невменяем: — ночи перед виселицей казались легче ночей после бегства Азефа.

Савинков ночами ходил по кабинету, курил, садился, вставал, пил, снова ходил, похожий на крутящегося в клетке зверя. Думал ли он о чем? Вряд ли мог думать о многом. Не думал об ужасе смерти товарищей на виселицах, о поражении дела, о том, что ЦК смешан с грязью. Это выдавливалось из черепа узнанием, что им, революционером Савинковым, пять лет играл провокатор.

Савинков останавливался, сжимал руки, бормотал. До чего теперь все было ясно! Выплыли двусмысленные разговоры, осторожные расспросы, неосторожные допросы, нащупыванья, выщупыванья. Савинкову казалось, что у него нет дыханья. Знал теперь, почему в первом покушении на Плеве они были брошены, почему отстранилось убийство Клейгельса, сорвалось Дубасова, зачем в охряном домике отдавалось приказание замкнуть ворота Кремля, как была распущена БО. Вспоминал, как целовал мясистыми губами Азеф, отправляя на виселицу, как выступал Савинков в ЦК, говоря о совместной усталости и совместном сложении полномочий.

«Говорил от имени департамента полиции!», — проговорил Савинков вслух и захохотал. Он стоял с стаканом вина посреди комнаты.

2.

Ночь была тиха. В квартире звуков, кроме шагов, не было. Савинков чувствовал разбитость, бессилие. «Игра в масштабе государства, быть может в масштабе мира, так ведь это ж гениальная игра?» Вместе с ненавистью, позором выплывало страшное чувство восхищения, которое надо было подавить. — «Ведь это ж герой романа, в жизни правимой ветром и пустотой? Сазонов, Каляев, Азеф их целует. Бомбу вместе с их руками мечет действительный статский советник, обойденный по службе!» — Савинков хохотал: над собой, над партией, над ползущим глетчером!

Сидя в куртке и теплых туфлях, он перечел главу романа, кончавшуюся размышлениями Жоржа: — «А если так, то к чему оправдание? Я так хочу и так делаю. Или здесь скрытая трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, скажут, убийца, когда теперь говорят герой? Но на что ж мне чужое мнение?»

Савинков хотел развить эту главу в апологию самости, единственности Жоржа. Но чувствовал внутреннюю помеху. Словно попало что-то в душу, волочится, тормозя. Это было, начавшее биться, стихотворение — об Азефе:

«Он дернул меня за рукав,
Скажи, ты веришь?
Я пошел впереди помолчав.
А он лохматый,
Ты лицемеришь!
А он рогатый,
Ты лгать умеешь!
А он хвостатый,
Молиться смеешь!
А он смердящий,
В святые метишь!
А он гремящий
Ты мне ответишь!

На улице зажигались поздние фонари
Нависали серые крыши.
Я пошел тише.
И вдруг услышал:
Умри!»

3.

— Стало быть товарищи,—проговорил В. М. Чернов, председательствуя на заседании ЦК, потряхивая седо-рыжей шевелюрой.—Поступило от товарища Павла Ивановича заявление с предложением возрождения БО под его руководством. В первую очередь для реабилитации террора предлагает он центральный акт. Вопрос, товарищи, разумеется, ясен, реабилитировать террор должно и центральный акт был бы самым, разумеется, нужным партии актом, но есть тут товарищи, «но» и оно именно вот в чем: — можем ли мы выдвигать Павла Ивановича в начальники БО? Прошу высказаться товарищей о Павле Ивановиче, а сам скажу следующее. — Как сейчас помню, сказал мне раз сам Азеф о Павле Ивановиче так: — черезчур он импрессионист, черезчур неровен для такого тонкого дела, как руководство террором. А уж он то, Азеф, понимал, товарищи, ничего не скажешь. Да и Гершуни недолго с Павлом Ивановичем встречался, а пришел как-то ко мне и прямо сказал: — Ну, говорит, знаешь, этот ходульный герой не моего романа. Я ему говорю о Плеве, о Сергее, а Григорий свое:—нет, не знаю, говорит, чем он был, вижу только, чем он стал, мы, говорит, можем считать, что его не было. Вот, товарищи, что сказал такой тонкий в этом деле и понимающий человек, как Григорий, а мы вдруг, после провала Азефа, выдвинем Савинкова в главы БО, что ж из этого выйдет, товарищи? Да ровно наровно ничего, товарищи, не выйдет. Прошу высказаться.

— Я буду краток, товарищи, — встал Минор, опираясь на стул,—полагаю, что кандидатура Павла Ивановича в начальники БО сейчас в столь ответственный

момент едва ли возможна. Черезчур он скомпрометирован близостью с Азефом, не знаю даже, пойдут ли за ним боевики? Слишком много у Павла Ивановича врагов. Я против этой кандидатуры, товарищи.

— Да, что Савинков! — резко заговорил чернобородый Карпович, — куда ему там в главы БО? Без Азефа не тот, эффектен, слов нет, да кишка коротка— пустоцвет!

— По моему мнению, товарищи,—сказал Слетов, — Павел Иванович даже едва ли лично поедет на террор в Россию. Уж не тот человек, в нем, товарищи, произошел какой-то надлом, что-ли. Он все пишет роман о «праве на vбийство», сомневается в том, что делал, как террорист. Как же может встать он во главе БО? Не знаю, товарищи.

— Я думаю, — встала Чернова, — что Павел Иванович никогда и не был подходящ для такой ответственной роли, как руководитель БО. Павел Иванович это аристократ партии, революционный кавалергард, свысока смотрящий на массовиков-штафирок. Не думаю, товарищи, чтобы за таким человеком пошли сейчас товарищи-боевики.

— Я недавно, товарищи, — сказал член военной группы Лебедев, — говорил с Павлом Ивановичем о реабилитации террора и он развивал мне свой план центрального акта и план организции новой БО. Признаюсь, мне не сильно это понравилось. Павел Иванович говорил о новых началах организации, а когда я спросил его, каковы они должны быть, он заявил, что принцип организации — военный. Дисциплина и иерархия. То есть стало быть нужны рядовые БО, офицеры БО, я его спрашиваю, ну, а генерал БО? — Да, — говорит, нужны и генералы. После провала одного генерала, полагаю, товарищи, как бы не вышло чего нехорошего. Принцип иерархии показал нам, что это значит.

— Да, да, товарищи,—снова заговорил Чернов,— все это верно, Павел Иванович под разлагающим влиянием Азефа при этом самом генеральстве стал дей-

ствительно уж даже и не революционером как бы, а просто, так сказать, «решительным человеком», — захохотал Чернов.

— Кхе, кхе, кхе, — закашлялся кто-то глубоко и длительно.

Перед заключительным голосованием встал Потапов. — Товарищи, — проговорил он, — все это хорошо и то, что говорилось даже верно, но ведь кроме Савинкова никто не берется за эту работу? А реабилитация террора необходима. За Савинковым же, что ни говорите, опыт, акты, знание дела. Если отведем кандидатуру Павла Ивановича, кто же возьмет на себя организацию новой БО?

Наступило замешательство.

4.

Савинков проводил ночи в кабаках Монмартра. Ему хотелось одиночества. Пил в пахучих отелях с рванью последнего разбора. Но ведь он же почти не видел эту окружающую его рвань. За апперетивами, винами владела мечта. Решил встать во главе новой БО. Уж видел жалкую фигуру русского царя, карету которого рвет Борис Савинков. Но трясясь ночами на дешевеньком извозчике из монмартрских кабачков, знал, что это неправда, это пьяный сон. Он один знал это.

5.

На переговоры с ЦК он приехал в черном. В смокинге с красной гвоздикой в петлице. Не извинился за костюм, бросив, что с вечера артистки Гранд Опера. Небрежно, надменно, Чернову показалось даже нагло, словно не добивался руководства, Савинков стал договариваться об условиях.

— У вас Павел Иванович акт то уж намечен?

— Центральный.

— Ну и прекрасно, в данный момент, после Азефа, цареубийство именно спасло бы престиж партии. Так что же? Товарищи вам доверяют, опытность ваша известна, ЦК выражает доверие, не пуху не пера стало быть, подпишем?

Савинков, не читая, подписал договор с ЦК.

«1. БО партии с. р. объявляется распущенной. 2. В случае возникновения боевой группы, состоящей из членов п. с. р. под руководством Савинкова, ЦК а) признает эту группу, как вполне самостоятельную независимую в вопросах организационно-технических, б) указывает ей объект действия, в) обеспечивает ее с материальной стороны деньгами и содействует людьми, г) в случае исполнения ею задачи разрешает наименоваться БО партии с. р., 3. настоящее постановление остается в силе впредь до того или другого исхода предпринятого БО дела и во всяком случае не более года».

Поблескивая лакированными туфлями, закладывая в боковой карман договор, Савинков вышел из квартиры Чернова. Ехал в ветре открытого автомобиля. Откинутая фигура была эластична. Любил быструю езду против ветра.

6.

Боясь провокации, Савинков составил террористическую группу из старых товарищей. Из Парижа стал готовить цареубийство. Уже первые сведения пришли: — трое боевиков начали в северной столице слежку за выездами царя из Царского. Савинков отдал распоряжение готовить динамит в уединенной вилле в Нейи. Бесконтрольное обладание людьми и деньгами, сопряженное с ответственностью, доставляло удовлетворение.

Савинков любил боевиков. Знал, каждого пошлет и каждый пойдет на смерть. Больше других любил молодого Яна Бердо, поляка с аристократически-воен-

ной внешностью, уменьем держаться, пить и есть. Поэтому дал ему кличку «Ротмистр».

«Ротмистр» любил жизнь. В нем были утонченные страсти. Вместе бывали завсегдатаями скачек в Лонгшамп. И желтые людишки вертящиеся у тотализаторов безошибочно узнавали их котелки.

Холодный для мало знакомых, заносчивый с врагами, пренебрежительный острослов, Савинков с товарищами был ласков. Но чаще искал одиночества с романом. За романом, давая отчеты души.

7.

День был разорван, часто отрывали от работы, звонили, вызывали на явки. Когда Савинков остался один, испытал удовлетворенное чувство одиночества, дающееся сильно усталым.

В полутемноте сидел Савинков. В тишине скрипела кожа кресла. Ни враг, ни друг не знал, о чем думал. Он думал, что герой романа Жорж это «Савинков доведенный до конца»». Героя он сделал переходящим все границы, потерявшим обоняние. Жорж сильный зверь. Убивать генералов будет потому, что ему не нравится красная генеральская подкладка. Убьет всякого, кто встанет на дороге. Оттолкнет тех, кто любит. Савинков вспомнил Нину. Не было ни жаль, ни не жаль. «Цифра жизни. Баланс не сошелся, сбрасывается. Все покрывается бессмыслием смерти. Смешны грани, рамки, если все умирает. Только поймите, как смешны».

Ночь Савинков работал над романом. После сидел склонясь за зелено-освещенным столом. Сводил полученные донесения от боевиков из России. Полученное неделю назад говорило, наблюдение поставлено, два раза кортеж царя был замечен. Даже удалось несколько двигаться за ним. Если бы на месте была вся организация и бомбы, может быть удалось бы — убить. Последующее было тревожно. Один из ве-

дущих наблюдение заметил слежку, принужден скрыться, другие стали осторожнее. Товарищи ждали, звали, просили Савинкова скорее ехать в Россию, нанести центральный удар, реабилитировать террор.

Савинков задумывался. Лицо было зелено, как у трупа, еле заметно улыбался. Этого никто не знал:— не было сил. Он знал, по приезде в Россию, когда не нужен Азефу, когда он только террорист, сорвавшийся с виселицы, его схватят, повесят. И что же? Разве всю жизнь он не шел на виселицу? Разве в Севастополе она была далека, когда вышиб табуретку Азеф? Разве он трус? Виселица не страшна, он не трус. Но в этот момент он ненавидел Азефа. Урод убил, оставив жить. Савинков с отчетливым отвращением ощущал: — он обманул ЦК, не поедет, нет сил. Он знал усталость переломленной пополам души.

«Усталость. Обманываю ЦК? Чернова? Да я ненавижу их, как мелкую человеческую сволочь. Я играл с петлей. Пусть играют другие». Но тут же представлял: — Невским проспектом мчатся конвойцы на белых конях, коляски, кареты, филеры и полиция оцепили кварталы, выезд слабого, тщедушного Николая Романова несется и вот: — Взрыв! Карета взлетает на воздух. Кто? Николая Романова взорвал Борис Савинков!

Подперев голову, думал: — «А, действительно, не поехать ли?» Савинков был зелен в свете абажура, как труп.

8.

Он снял наблюдение за царем, вызвав боевиков заграницу: — шли тревожные подозрения Яна Бердо и «Миши Садовника». Пока съезжались — Слетов, Вноровский, Зензинов, Бердо, Прокофьева, Моисеенко, Чернавский, Миша-садовник», — Савинков посвящал дни Парижу и одиночеству. Днем его видели на скачках в Лонгшамп. Вечерами в богатых барах с блестящими кокотками. Ночами, чувствуя сладостную

тоску, в приступах которой можно было всадить нож в сердце, Савинков ехал в кабаки низкого пошиба. Бледного, изящного барина там любили, потому что в нем, как говорила старая Мари, живет «наша душа».

Иногда он писал стихи. Они выходили больные, кровавые. Каждый день, казалось, топился темной тоской, от которой на двадцать минут спасали женщины.

Откуда шла тоска? Он знал. Но когда захватила, заполнила, понесла, когда стало все безразличным? Он знал тоже. Знал, что не убьет царя, что напрасно ездили по Петербургу боевики в извозчичьих армяках, ходили папиросники. Знал, их могли повесить. Но что ж делать? Он признался б тому, кто б понял. Рассказал бы, как горела, выгорала и выгорела душа.

9.

Заведующий наружным наблюдением русской политической полиции в Париже, сыщик Анри Бинт стар и опытен. Исполнял тончайшие поручения. По приказу царя наблюдал за братом царя Михаилом, женившемся на Наталии Вульферт. Пронырливость Бинта превзошла царские мечтания. В церковь св. Саввы на бракосочетание Михаила с Наталией Вульферт проник Анри Бинт. Он не виноват, что опоздал прибывший от царя генерал Герасимов.

О, Анри Бинт злая штучка! Он доставил царю фотографию ребенка Наталии Вульферт. И именно ему особым чиновником от Герасимова, привезшим секретные бумаги касательно боевиков, поручено тщательное, ни на шаг неотступное наблюдение за Савинковым.

Слежка удовлетворяла Бинта. Джентельмены, заговаривавшие на скачках в Лонгшамп, кокотки Мулен Руж, коты, проститутки на дне парижских кабаков оплачивались. До запятой выписывал в дневник наблюдений жизнь Бориса Савинкова Анри Бинт.

Только вначале удивлялся Бинт, зная опытность своего партнера. Поражало: — партнер не защищается. Даже не оглядывается, идя улицей.

10.

На пароходах из Гамбурга и Марселя стягивались боевики в Лондон. Под видом туристов недалеко от Чаринг Кросса состоялось в отеле заседание. Савинков был бледен, устал. Перед собранием завтракал в зале отеля сырым ростбифом и пил виски. Сидевший Ян Бердо сказал, что он пьет больше обычного.

Но когда собрались товарищи, первое что почувствовал Савинков: — невозможность руководить подчиненными волями. Силы истрачены, пустота. Подавленная молчаливость от провала работы, от подозрений, что снова в террор впивается провокация, действовала. Он медлил открыть собрание, разговаривая то с матросом Авдеевым, то с Бердо, то расспрашивая Зензинова о впечатлении от России, то говоря с Вноровским о самоубийстве Бэлы. И оттого, что ждали, оттого, что собрание не открывалось, оттого, что Яна Бердо подозревали в провокации, состояние боевиков было тягостное. Савинков, ревниво вглядываясь в лица, ощущал боль самолюбия: — не верят. Чувствовал самое страшное: — теряет самообладание.

Ян Бердо был развязен, смеялся. Знал, что в провокации подозревают именно его, что вопрос будет обсуждаться. Смеялся потому, что не было фактов и близость с Савинковым, родившаяся в кабаке, тотализаторе, за остроумием ницшеанской беседы, — защитят его.

— Объявляю собрание открытым, — проговорил Савинков, заняв место за столом. Секретарем села невеста Сазонова, тихая Прокофьева. Товарищем председателя — Слетов.

— Товарищи, — заговорил Савинков. Любовь к слову и всплывшая, привычная обстановка подняли

›вы. — Мы знаем, что после предательства Азефа ›рор должен быть реабилитирован. Предпринятый ітральный акт необходим нам, как воздух. Но нас ›ва подстерегает смутная неудача. Если это неуда- действия это не страшно. Много неудач было в эроре. На неудачах учились, шли к удачам. Но не- ача смутна и неясна. Почему товарищи заметили ежку? Данные указывают на самое гнусное — на ›овокацию. Начинает казаться, она вновь вьет гнез- ›, вызывая тень Азефа. Но если Азеф по оплошно- и ушел пока живым, другой предатель на это может : надеяться.

Савинков в паузу видел выражение лиц, самолюби- эй болью ощущая: — не верят.

— Товарищи! Мы свои, мы братья, спаянные ровью. Должны и можем быть открыты друг другу, стому что все идем на смерть. Предлагаю единствен- ый способ, может быть, тяжелый, но другого не вижу. Іусть каждый выскажет о другом все подозрения, ес- ›и таковые только имеются. Пусть биография и жизнь ‹аждого будут представлены на полное, детальное рас- :мотрение. Если в жизни и биографии кого либо най- іется неразъясненное место, такому товарищу не долж- но быть места в боевой организации. Я начинаю с себя! Прошу сказать, кто что-нибудь имеет против меня, кто желает обо мне что-нибудь узнать, задать какой либо вопрос?

Ответило полное молчание.

— Вам, Павел Иванович, мы доверяем полностью, — проговорил Ян Бердо, — думаю, товарищи я выражаю общее мнение?

Тишина стала напряженней, жутче. Савинков перебил ее:

— Предлагаю, в таком случае, разобрать жизнь и биографию «Ротмистра».

Кто-то перемялся на стуле. Кто-то кашлянул. Тишина перервалась. Слетов проговорил:

— Я хотел бы знать, где был две недели тому назад «Ротмистр», то есть 17-го числа?

— Где я был? — проговорил «Ротмистр», перекладывая правую ногу на левую. Фокус всех глаз был на нем. — Позвольте, это довольно трудно припомнить, — приложил он руку ко лбу — 17-го числа я был в Мюнхене, да, да... в Мюнхене...

«Ротмистр» знал, что 17-го из Мюнхена он экспрессом, через Берлин, ездил в Петербург к генералу Герасимову. Но вполне владея собой, повторил:

— Да, да 17-го я был в Мюнхене. А почему вы, Степан Николаевич, спрашиваете?

— А 17-го вечером вы никуда не уезжали?

— 17-го вечером? Да уехал. В Париж к Павлу Ивановичу.

Слетов молчал.

— А почему вы спрашиваете?

— Павел Иванович, «Ротмистр» у вас был в Париже 19-го?

— 19-го? Да, по моему был 19-го. Есть еще вопросы к «Ротмистру»?

— Нет, если вы виделись с ним 19-го, то — нет. Это проверка одного сообщения. Но оно кажется неверным.

Глядя на Слетова, «Ротмистр» улыбнулся детской улыбкой красивого лица.

— Мне кажется, что жизнь «Ротмистра» в Париже не соответствует нашему представлению о жизни революционера. «Ротмистр» не станет отрицать, что кутежи, скачки и прочее, это не неизменная особенность революционера. Я бы высказалась раз навсегда против такой жизни товарищей, — тихо проговорила Прокофьева. — И не объяснит ли «Ротмистр», на какие деньги производит он эти кутежи?

«Ротмистр» рассмеялся. Все увидели белые зубы, гармонировавшие с нежным румянцем щек.

— Если я бываю в ресторанах, то, товарищи, только с Павлом Ивановичем, перед которым моя парижская жизнь проходит, как на ладони. Если когда-нибудь я кутил, то уверяю вас, не на свой счет.

Поднятое было Савинкову болезненно оскорбительно. Он знал, товарищи заглаза обвиняют широкую жизнь на деньги боевой организации. Чтоб прервать, он, нахмурясь, проговорил:

— Пора бы знать, товарищ Прокофьева, что по делам террора приходится посещать места и заведения, не доставляющие особого удовольствия. — Сосущая утомленность, мгновенное презренье к окружающим охватили его. Он оборвал допрос «Ротмистра».

11.

— Скажи, Владимир, ну что же это такое? — говорил Слетов Вноровскому, выходя из отеля. — На что это похоже? Разве это дело? Что мы сделали? Эти допросы — сказки для малых ребят. — Слетов был возбужден. — Ты знаешь, как я говорил, так и есть, без Азефа Павел Иванович нуль, пустоцвет, ничто. Вместо дела — фраза, поза ничего больше. А сам, поверь мне, в Россию на террор не поедет.

— Почему ты думаешь?

— Разве ты не видишь, он изломан, изъезжен не революционной работой, а какими-то своими философиями, писаниями, вообще достоевщина за пять копеек. Разве такой человек может стоять во главе террора? Потом, его жизнь? Он в Париже сорит деньгами направо, налево, скачки, рулетки, пьянства, говорят про какие-то умопомрачительные оргии.

— Да, ты прав, — тихо ответил Вноровский. — Гоц называл его «надломленной скрипкой Страдивариуса» и, кажется, теперь эта скрипка ломается. А как его любил, как в него верил брат, Борис.

— Пусть ломается сам, но он втаптывает в грязь и кровь товарищей, в Петербурге случайно не захватили извозчиков, они еле ушли, «Ротмистр» определенно на подозрении. Что же, потому, что Павлу Ивановичу ни до чего нет дела, мы опять посылаем людей на

виселицу? Это кабак! Это та же азефовщина с другой стороны!

— ЦК договорился с ним на год, если в течение года ничего не сделает, теряет полномочия.

— Через год? А год партия должна сидеть в грязи, в которую повалил ее Азеф при помощи Чернова и Савинкова?

Вноровский не отвечал.

— Я никогда не думал, что Савинков может сломаться.

— Белоручка, — злобно проговорил Слетов. — Философия всякая, «все позволено», то да се, а люди гибнут.

12.

Никакой надобности Анри Бинту не было следить за Савинковым в Лондоне. Герасимов сообщил, лондонская конференция проходит под наблюдением двух сотрудников. Анри Бинт ждал Савинкова в Париже. Когда, после вечернего поезда, мчавшегося от Ла Манша, в квартире на рю Лало 10 вспыхнул огонь, Бинт узнал, Савинков вернулся.

В доме следить тоже незачем. Следила мадемуазель Фуше, получавшая 50 месячных франков, за рассказы о «мсье Лежнев», по паспорту которого жил Савинков.

Через два дня Бинт писал сводку наблюдений сыщика Дюрюи и своих: — «Сегодня 3-го ноября можно утверждать, что Савинков, он же Мальмберг, он же Лежнев, спал один. Вышел из дому в 1 час 35 минут дня. Одет в пальто черного драпа с бархатным воротником, в черном котелке, несет в левой руке портфель с отвернутой застежкой, лицо худое, длинное, усы стрижены по американски. Общий вид: элегантен, но сильно постарел. Выйдя из квартиры, пошел следующей дорогой: — рю Перголез, Авеню дю Трокадеро, там в табачном магазине, на углу авеню де Гранд Арме, купил почтовые марки и, выйдя, опустил в ящик

письмо. Постояв на авеню де Гранд Арме, повернулся и снова пошел на рю Перголез, где вошел в дом № 7 в нижний этаж к своему другу мсье Дерье, 25 лет, поэту. Я следовал за ним на расстоянии тридцати шагов. У дома Дерье ждал около часу. Из дома он вышел один. Остановился на улице и мне показалось, что замечает меня. Я подошел к окну магазина. Савинков двинулся в направлении авеню де Малакоф. Здесь он взял извозчика и поехал к Булонскому лесу. Я следовал за ним на извозчике до Рут д' Этуаль. Здесь Савинков вылез, расплатился с извозчиком и в течение нескольких часов ходил совершенно бессмысленно и бесцельно...»

13.

На рю Лало, в квартиру Савинкова вошел Моисеенко.

— В чем дело? — проговорил Савинков, понимая, что что-то случилось и прикрывая листом рукопись.

— «Ротмистр» застрелился.

— «Ротмистр»?

— Да.

— Когда?

— Вчера вечером.

— Где?

— У себя на квартире, в Медоне.

— Оставил письмо?

— Нет.

— Товарищи подозревали его в провокации.

— Да.

— Это могло его оскорбить.

— Могло быть, что он, как провокатор, боялся мести.

— И сам поспешил себя убить?

— Самому убивать себя легче.

Савинков задумался, улыбаясь неестественно, как показалось Моисеенко, проговорил:

— Так. Переехали человека. Ну что ж. Вечная память «Ротмистру». Еще крестом на дороге больше.

— Только на какой дороге?

— На нашей.

— Вам не жаль?

— Не умею жалеть. Глупое чувство деревенских баб. Чем больше близких падает, тем легче итти самому. У «Ротмистра» остались деньги?

— Пустяковые франки.

— Я дам денег. Его похоронит боевая организация.

Савинков замолчал. Молчал Моисеенко. Когда он вышел, Савинков перечел написанное и стал писать дальше: — «Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь — не знаю. Я так хочу. И я пью вино цельное.»

14.

— Ну да! Так что же он делает? Готовит центральный акт? А в чем же это состоит? В том, что в Питере три товарища поездили извозчиками и снялись. Ведь это же форменное безобразие! Это же возмутительно! Таких денег не тратил Азеф! Но тот, по крайней мере, дело делал. Нет, Марк Андреевич, Савинкову надо прямо поставить: — едешь на террор — получаешь деньги, едешь на скачки в Лонгшамп — твое дело, не гневайся, батюшка. А то на сене лежу, сама не ем и другим не даю.

— Сама то положим ем, — засмеялся Натансон, — в этом то и горе.

— Страннее всего, — проговорил Рубанович, — что штаб Павла Ивановича все время ездит по Европе. То в Париже, то в Ницце, то в Мюнхене, то в Берлине. Ведь это же стоит сумасшедших денег.

— Я спрашивал его, — печально перебил Зензинов,—говорит, принужден это делать, заметил слежку.

— Я всегда был против передачи Павлу Ивановичу боевого дела, — сказал Карпович. — Теперь сами убеждаетесь. Это граммофон Азефа. Ничего больше.

— Ну это, положим, вы чересчур. Дело Плеве, дело Сергея, Татарова.

— Татарова! Для таких дел не надо организационных талантов. Дал Назарову нож и уехал. В деле Сергея работали Каляев и Моисеенко. А Плеве создал Азеф.

— Нет, товарищи, надо как-нибудь все это вывернуть наизнанку. Коль работа, так работа. Коль нет, так и денег нет, — замахал Чернов, мигая круглым косым глазом. — Ведь он на прошлой неделе, понимаете, на цареубийство глухую ассигновку в 20 тысяч взял!

15.

— Messieurs! faites vos jeux! — кричал лысый, наглый крупье, похожий на боксера.

В дворце «Казино» в зелени тропического парка на голубом фоне моря, в зеркалах стен отражалась сумасшедшая толпа лиц. Савинков понял, отчего среди электричества над столами с золотом висят керосиновые лампы. Савинков сел меж англичанином и старухой в буклях.

Линия лиц слилась в многоглазую ленту. Доносилась музыка, как бы аккомпанируя. Он знал, что кидает золотые луидоры, нужные на убийство царя.

— Messieurs! faites vos jeux!

16.

Но если б он даже знал, что консьержка дома, мадам Гато и вертлявая прислуга куплены полицией, возможно, что отнесся б к этому безразлично. Чадный дым наполнял душу. Когда ночью подошел к квартире, в темноте раздался голос Нины: — Бо-ря!

Он остановился. Он быстро вбежал. Минуту казалось, снова с детьми приехала Нина. И эта минута была счастьем. Но в квартире — темнота. Спальня неубрана, на полу банки откупоренных консервов, поваленные бутылки, смятая постель и запах затхлости досказали воспоминания ночи.

«Галлюцинации», — пробормотал Савинков. — «Слышал совершенно отчетливо». Опустился в кресло, показалось, что может заплакать, потому что стремительно проносилась разбитая и окровавленная жизнь.

На письменном столе не в таком виде оставил полученные письма. «Что за чорт, я кажется начинаю мешаться?»

— Аннет! — крикнул он. — Что за безобразие, вы брали письма с моего стола!

— Как вы можете говорить, мсье!

— Ступайте прочь!

— Я буду жаловаться.

Скалькированные копии писем шли уж в департамент полиции. Анри Бинт знал: — зверь сдается без боя.

17.

— О мон шер! — хлопал он по плечу друга, титулярного советника Мельникова, — кажется зверь скоро будет совсем ручным!

Титулярный советник Мельников, необычайно боявшийся террористов, недоверчиво качал головой. Но Бинт хохотал, тыкая в живот титулярного советника.

— Император с своими министрами может жить совершенно спокойно, мон шер! Мсье Савинков выдохся! О, если б вы только знали, какой кутеж был позавчера в Мулен Руж, а потом за старым базаром в третьесортном бистро, куда этот террорист ездит чуть ли не каждую ночь. Он влюбился там в кухаркину

дочь, которая дает о нем самые пикантные сведения! Вы понимаете, здесь в Париже он — кончен. Il faisait la bombe, au lieu de faire les bombes. Да, да, мон шер, верьте моему опыту. Я пишу в Петербург рапорт, чтоб с него сняли всякую слежку.

Бинт прочел титулярному советнику Мельникову:

«Рапорт заведующего наружным наблюдением Анри Бинта заведующему заграничной агентурой департамента полиции.

Ваше превосходительство!

Мои наблюдения за шесть месяцев за главой террористов партии с. р. Борисом Савинковым, он же Мальмберг, он же Лежнев, дают повод осмелиться указать вам, ваше превосходительство, что дальнейшее наблюдение за этим бывшим террористом является по моему мнению только лишь обременительным. Если этот мсье был когда-то страшен вашему правительству и угрожал жизни монарха, то милостью божьей можно считать эту опасность миновавшей. Вы писали, что считаете его одним из самых опасных и отважных террористов. Веря мнению вашего превосходительства, полагаю, что вы основывались на бывшей деятельности этого господина. Будучи директором бюро наружного наблюдения, согласно вашей просьбе в продолжении шести месяцев я установил неотступную слежку за ним, так как вы просили меня не терять его из виду, чтобы он не появился внезапно в России и не произвел бы там террористического акта. Наблюдение за мсье Савинковым было поставлено более чем тщательно. Он был окружен в Париже всецело нашими людьми. Во всех квартирах консьержки дома были куплены нами, если они не состояли на нашей службе. Через консьержек нами покупалась прислуга служившая у мсье Савинкова, через которую и доставлялись мной вашему превосходительству калькированные копии писем к Савинкову его друзей (Бурцев, Бунаков, Плеханов, Моисеенко, Сомова и других). По прошествии столь значительного времени я могу сейчас с чистой совестью сказать вашему превосходитель-

ству о результате моих наблюдений. Мсье Савинков производит на меня впечатление «выдохшегося террориста» и «выдохшегося революционера». Это ужасный кутила, ваше превосходительство. Ужасный poceur, вы даже не представляете его образа жизни и его кутежи в Париже. Они обычно начинаются с лучших ресторанов нашего прекрасного города и кончаются низкопробными кварталами, где этот террорист продолжает кутить вместе с отбросами общества и человечества, наводя, быть может, террор на них. Уверяю вас, ваше превосходительство, что мсье Савинков уж более не террорист, поверьте моему тридцатилетнему опыту, я знаю революционеров и скажу, что опасные из них не могут вести такого образа жизни. Il faisait la bombe, au lieu de faire les bombes. Женщины без конца! Если вы разрешите мне, ваше превосходительство, некоторую вольность, то я дам хотя бы такой характерный штрих из жизни мсье Савинкова, который может вам сказать о его образе жизни с одной стороны и тщательности нашего наблюдения с другой. Купленная нами его последняя прислуга на рю Лало 10 позавчера ночью устроила так, что я лично мог наблюдать через стекло (верхнее оконце) происходившую в квартире оргию. Были три женщины и он. Все были в костюме Адама и Евы. Моя скромность не позволяет, ваше превосходительство, изложить вашему превосходительству дальнейшее, чему я был лично своими глазами свидетель. Но позволю себе еще раз указать на вполне возможное снятие слежки с этого бывшего террориста, а ныне кутилы. Слежка за ним, как вы видите из предыдущих донесений и представленных мной счетов чрезвычайно дорога. Он постоянно меняет места, едет то в Ниццу, то в Сан-Ремо, то в Монте-Карло, то в Мюнхен, то месяцами кутит в Париже по ресторанам, притонам и кабакам. Им заняты помимо меня лично еще три чиновника. И все данные наблюдения говорят только о кабаках и женщинах. Мне известно даже доподлинно, что его товарищи стали чуждаться и сторониться. Против него

в партии растет недовольство. Полагая, что вы вполне согласитесь со мной, ваше превосходительство, в ожидании вашего распоряжения

преданный вам

заведующий наружным наблюдением Анри Бинт.»

18.

В ЦК царило полное возмущение. В квартире Чернова кричали Рубанович, Натансон, Чернов, Слетов, Зензинов.

— Это решительно ни на что непохоже! — доказательно тряс обеими руками Зензинов. — Мы сидим в тупике, Павел Иванович должен был вывести партию на путь террора, поднять престиж, а вместо этого даже тогда, когда... чорт знает что! Мы сговорились, чтобы он ждал нас в Ницце. Привезли из России данные, которые он просил. Он хотел выехать тут же с тремя товарищами в Россию, так, по крайней мере, писал нам, и вот вчера я получаю телеграмму, что он приезжает в Париж. Встречаемся, я думаю, сейчас договоримся, а Павел Ивнович вместо разговора смотрит на часы и сообщает, что ему надо ехать. Я спрашиваю — куда? Он говорит: — на скачки в Лонгшамп, сегодня дерби. Говорю, это не по товарищески, это невозможно в отношении организации, мы приехали из России, мы ведь договорились, наконец его знают в Париже, за ним идет слежка по пятам, на скачках за ним будут, конечно, следить, мне передавали — филеры его не спускают с глаз. Он заявляет, что это пустяки, завтра мы сможем обо всем потолковать. Я ставлю на очередь вопрос...

Заломив руки за спину, Чернов ходил из угла в угол бешеным, рыжим медведем.

— Да чего тут скрывать, товарищи! — закричал он вдруг. — Павел Иванович проиграл деньги боевой организации в Монте-Карло в рулетку!

— Что?!! — закричало несколько голосов.

— Проиграл три четверти кассы!

— Лопнула скрипка Страдивариуса.

— Если это была когда-нибудь скрипка, а не втора третьего сорта!

— Но ничего нельзя поделать! С ним договор у ЦК! Надо настоять, чтоб он ехал в Россию.

— При таком состоянии Павла Ивановича, кроме провала в России ничего не выйдет.

— Ну так что же?! — Ну так как же?! — Ну так что же вы предлагаете?!

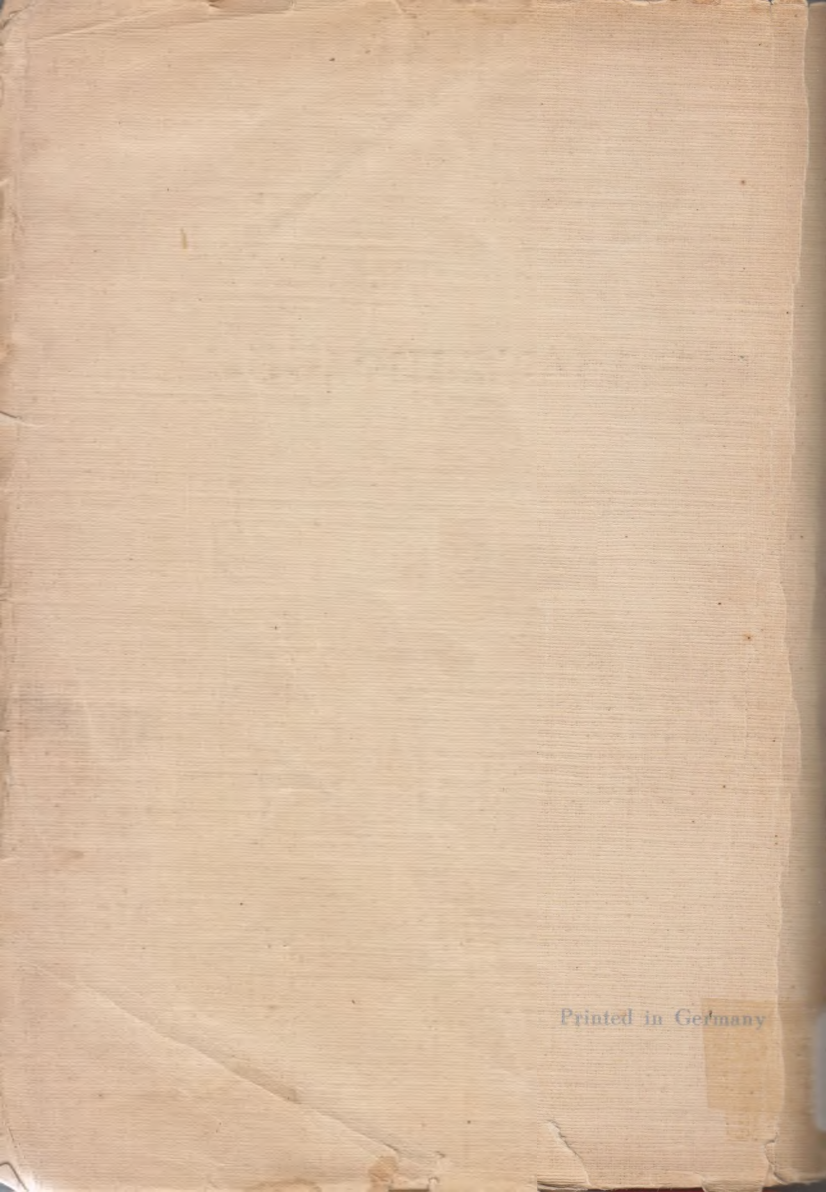
— Немедленно расторгнуть договор ЦК с Павлом Ивановичем и распустить его организацию.

19.

Эта ночь была тяжела и туманна. Мелкой, теплой сеткой накрапывал весенний дождь. Улицы горели желтыми пятнами огней. Подымался дымный туман от мутной Сены. Змеями колебались огни. Савинков шел, ударяя тростью в плиты. Он был в котелке, черном пальто с поднятым воротником. Алкоголь давал телу и воле фальшивую силу. Савинков находу коротко рассмеялся, думая, что если б нашлась вместительная петля, хорошо бы было повесить весь мир.

Ночь глухая, теплая, парная, городская, без воздуху. Савинков не знал, сколько простоял на набережной, смотря на реку. Тяжелый, мутный рассвет еще даже не брезжил. Ночь не просыпалась. Искривленные фигуры качались в темноте. Пьяный сержант пел солдатскую шансонетку. Савинков шел узкой, грязной, темной улицей, на которой потухали редкие фонари и которая сейчас казалась черным коридором. Голова была мутна, ноги тяжелы. Чем ни дальше шел, тяжелее была походка. Словно тащили ноги тротуарные плиты. И плиты эти невероятной тяжелины.

Апрель 1928—1929.



Printed in Germany